



Лев Экономов пришел в литературу со своей темой, подсказанной ему жизнью, армией. В 1942 году, когда ему не исполнилось еще 17 лет, он добровольно вступил в Красную Армию. Участвовал в Великой Отечественной войне, был авиамехаником, затем воздушным стрелком. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией".

Еще в армии Л. Экономов начал писать повесть о летчиках "Под крылом земли".

Книга напечатана Воениздатом в 1959 году.

Демобилизовавшись, он становится литератором, членом Союза писателей СССР.

Л. Экономов бывает в воинских частях, встречается с солдатами и офицерами. Здесь он черпает материал для своих произведений.

Ему принадлежат вышедшие в центральных издательствах романы о летчиках "Перехватчики", "Готовность номер один", повесть о пограничниках "В каменных тисках", очерки о войсках противовоздушной обороны "Часовые неба", "Кордон в облаках", исторические хроники "Капитан Бахчиванджи", "Поиски крыльев", "Повелители огненных стрел".

В новом предлагаемом читателю повествовании "Секретное оружие Гитлера", имеющем под собой реальную основу, рассказывается о приключениях летчиков и партизан, героически сражавшихся с фашистами в тылу врага, — там, где разрабатывалось и создавалось секретное оружие Гитлера.

ISBN 5-902600-05-7



01785002600057

Секретное оружие Гитлера

Л.А. ЭКОНОМОВ

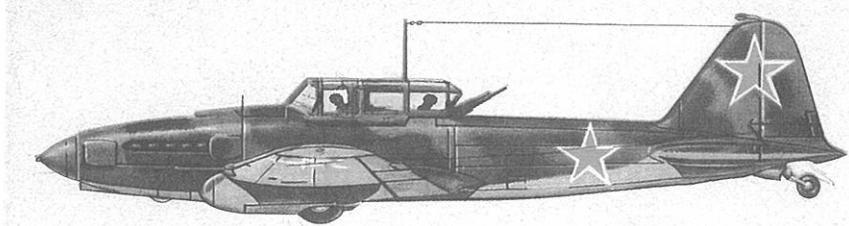
"Красивые дома" пресс

Лев Экономов

Секретное оружие Гитлера



Однополчане, отзовитесь!



783

*Штурмовой
авиационный
полк*



Я дую с вами



Лев Экономов



Посвящается шестидесятилетию
Великой Победы над фашистской
Германией и моим фронтовым
друзьям-однополчанам

Секретное оружие Гитлера

Красивые дома пресс

Издательский Дом

Москва
2005

УДК 821.161.1—311.6 Экономов
 ББК 84(2 РОС=Рус)6-44
 Э40

Экономов Л.А.
 Художник Экономов Л.А.
 Э.40 Секретное оружие Гитлера.
 М.: Издательский дом "Красивые дома пресс"
 2005.—336 с
 ISBN 5-902600-05-7

На войне как на войне. В этом остросюжетном повествовании автор – участник Великой Отечественной войны, опираясь на документы и сведения очевидцев, рассказывает, как советские летчики и партизаны, проявляя чудеса храбрости, сражались с фашистской нечистью в тылу врага там, где создавалось секретное оружие Гитлера, с помощью которого он намеревался покорить мир.

ISBN 5-902600-05-7

© Л. А. Экономов, 2005
 © ЗАО Издательский Дом
 «Красивые дома пресс», 2005

Си бо люди крилати и не имеющие смерти...
 Евпатий Коловрат

Часть первая

После окончания военной школы воздушных стрелков я прибыл "для прохождения дальнейшей службы" в бомбардировочный авиационный полк, где эксплуатировались тяжелые четырехмоторные ТБ-3. Это произошло незадолго до вероломного вторжения гитлеровских войск в нашу страну.

Война застала Военно-воздушные силы Советского Союза в стадии перевооружения, и основу самолетного парка ВВС тогда составляли машины устаревших конструкций. Наши бомбардировщики СБ, Р-5, МБР-2, ну и ТБ-3, на которых мне довелось полетать, уже отошли к разряду тихоходных ветеранов, были легко уязвимы и во многом уступали самолетам противника. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. И тогда эти мастодонты длиною в двадцать восемь метров и размахом крыльев в 51 метр (их почему-то называли летающими крепостями) выполняли все более или менее крупные транспортные перевозки.

ТБ-3 использовался и как авианосец. Так, с его участием в августе сорок первого был уничтожен железнодорожный мост с проложенным по нему нефтепроводом через Дунай, близ города Черновцы. Попытки же выполнить эту задачу и тем самым лишить гитлеровцев горючего, доставляемого к фронту с нефтепромыслов Плоешти через Констанцу, с помощью только бомбардировщиков ДБ-3 Ф (Ил-4) оказались безуспешными из-за мощной противовоздушной обороны врага. И тогда могучий ТБ-3 перебросил на своих крыльях к румынскому берегу два легких истребителя И-16, где они, дозаправленные

вившись привезенным на этом же бомбардировщике горючим, взлетели, незаметно подошли к цели со стороны Черноморя и нанесли сокрушительный бомбовый удар по мосту и пиктировали.

Успешно эксплуатировались эти самолеты и в полярной авиации Главсевморпути, как транспортные и грузовые (назывались Г-2). На них летали и пилоты Западновые Сибирского управления. Одна такая машина перевозила за один рейс три-четыре тонны груза.

С ними могли конкурировать только стратегические бомбардировщики П-8 (ТБ-7) Петлякова, ни в чем не уступавшие известным американским тяжелым бомбардировщикам "Боинг-17", которые мы получали по ленд-лизу, но и тех и других у нас было мало.

В общем, мы имели какие-то основания гордиться прошлым этого классического самолета, на котором выполнялись самые разные операции. Но, как уже говорилось, что считалось совершенным в тридцатых годах, стало отстающим в сороковых, хотя в начале войны ТБ-3 использовались еще и как бомбардировщики в Смоленской операции, на Северном фронте, а также под Мурманском. Многие немецкие самолеты были все-таки лучше. Это превосходство стало очевидным еще во время Гражданской войны с франкистами, после поступившего на вооружение к фашистам немецкого истребителя Ме-109 новой модификации.

Самолеты нашего полка использовались и для доставки в блокированый фашистами Ленинград винтовок, автоматов, пулеметов и противотанковых ружей, а также продуктов питания, медикаментов, консервированной крови. А на Большую землю из осажденного города по воздуху доставлялись (изготавленные питерцами) артиллерийские орудия, минометы, эрэсовские снаряды и другая военная продукция, такая нужная тогда под Москвой, где готовилось контрнаступление против отборных фашистских войск, намеревавшихся захватить нашу столицу.

То, о чём пойдет речь ниже, происходило в конце холодного пурпурного ноября, когда навигация на Шлиссельбургской

губе прекратилась, а движение по Ладожской ледовой дороге еще не началось. Этую пору времени называли тут "мертвым сезоном". Транспортировка грузов была возможна только по воздуху. Для обслуживания воздушного моста между Ленинградом и Большой землей использовались главным образом наскоро переоборудованные и оснащенные турельными пулеметами двухмоторные транспортные ПС-84 (*) и наши ТБ-3.

Совершая полеты в осажденный Ленинград, мы, конечно, рисковали, как и все во время войны. Нас могли подбить вражеские зенитки или истребители, драясь с которыми было трудно, потому что для сопровождения наших бомбардировщиков на первом этапе войны нередко выделялись истребители устаревших типов И-16 или И-153, оснащенных маломощными пулеметами. Но их тоже не хватало, хотя в начале войны самолетов у нас (как, впрочем, и танков, и артиллерийских орудий) было больше, чем у врага, но они, как я уже заметил, сильно уступали немецким в качественном отношении. Уже тогда имелись лишь 20 процентов новых боевых машин. К тому же по причине их нерассредоточенности мы в течение первого дня потеряли около 1200 самолетов, причем почти половина из них была уничтожена на аэродромах.

Чтобы не подвергать себя излишней опасности, мы чаще всего выполняли боевые операции ночью. Поднимались в небо на заправленных "под пробки" машинах после захода солнца, а приходили домой с пустыми бензобаками на расставе. Но нам все равно крепко доставалось от вражеских зенитчиков, и нередко мы возвращались, как пелось в популярной тогда песне, "на честном слове и на одном крыле". Бывали дни, когда воздушные тревоги продолжались по пять-семь часов кряду. В течение восемнадцати часов в сутки город подвергался артиллерийскому обстрелу.

(*) ПС-84 - модификация самолета американской фирмы "Дуглас" (с декабря 1941 года - Ли-2). Лицензия на его производство была приобретена перед войной.

На подступах к городу Ленина, опоясанному линиями укреплений, шли ожесточенные бои. Воздух гудел от взрывов, и в ночном небе полыхали багряные отсветы. Группа фашистских армий "Север" наступала всей своей мощью, намного превышавшей мощь советских войск на этом участке. Окружив город кольцом блокады, гитлеровцы рассчитывали сломить сопротивление его защитников постоянным артиллерийским обстрелом и тотальными бомбардировками с воздуха, деморализовать население, принудить к капитуляции.

С той далекой поры на всю жизнь запечатлелись в моей памяти и зловещий шелест летящих над головой снарядов, и взрывы бомб в жилых зданиях, разносившие их на куски. В одно мгновение уничтожалось то, что создавалось на протяжении целых поколений. Осознать это было нелегко. А еще труднее оказалось свыкнуться с мыслью, что вместе с колоссальными материальными ценностями гибли люди, в том числе старики и дети.

Наши челночные полеты по трассе Ленинград - Большая земля продолжались около двух недель. На аэродромы города в то время ежедневно прибывали до ста самолетов. И это были для летчиков едва ли не самые тяжелые дни за всю войну. И не потому, что рисковали больше, чем во время других боевых вылетов (риска всегда хватало). За тот короткий период времени мы увидели столько человеческого горя и страданий, что мне казалось, я никогда уже не смогу снова беззаботно улыбаться и шутить.

Прилетая в город Ленина, мы не переставали поражаться энтузиазму жителей, которые, несмотря на ужасающие условия, холод и голод, так самоотверженно трудились на победу. Только в ноябре сорок первого были переправлены под Москву около тысячи артиллерийских орудий и мин, радиоаппаратуры и другой военной техники, изготовленной ленинградцами. Здесь производились и водяные радиаторы для самолетов, и прозрачные бронекозырьки для кабин истребителей и штурмовиков, фугасно-зажигательные бомбы повышенной мощности, взрыватели дистанционного действия для бомб,

позволявшие бомбить с пикирования, прицелы для ночного бомбометания.

Бывали у нас иногда и перерывы в полетах: то ли из-за повреждений самолета, вызванных зенитным обстрелом (а с запчастями было трудно, их делали по специальным заказам на заводах Ленинграда), то ли из-за несвоевременной доставки на аэродром горючего или грузов. Случалось, и взлетно-посадочная полоса оказывалась разрушенной снарядами. Воронки тотчас же обрамлялись предупреждающими красными флагами, и за дело брались стройармейцы. Мы им тоже, конечно, помогали.

Что же касается "нелетной погоды", она пилотами в расчет не принималась. Грузы в блокированный город доставлялись на самолетах, обледеневших в пути.

Сталкиваясь каждый день со смертью и рискуя собственной жизнью, мы очень быстро мужали и становились равными среди своих старших и умудренных опытом товарищей.

Экипаж капитана Кострова, в который меня включили, несмотря на то что он состоял из молодежи, считался одним из лучших. Его часто ставили в пример, отмечая согласованность в действиях этого маленького дружного коллектива, боевую настроенность.

По моему тогдашнему впечатлению, капитан Костров, оставил глубокий и добрый след в моей памяти, меньше всего походил на военного человека. Громоздкий, медлительный, с рыхлой раскачивающейся походкой и душевной мечтательной улыбкой на круглом и слегка одутловатом лице с пороховыми метинами на широком лбу и щеках, он вроде бы как не знал, куда деть свои по-крестьянски большие руки, когда были они не при деле, и держал их либо в карманах широченных галифе, либо засовывал за ремень, опоясывающий мешковатую и длинную, как ночная рубашка, гимнастерку со шпалой в петлицах. И голос у него был совсем невоенный, глуховатый, даже несколько невнятный, без металла. Впрочем, среди летчиков бомбардировочной авиации он не казался белой вороной. (Отбирая людей в летные училища, приемные комиссии учитывали характер будущих пилотов, и

темпераментные лихие ребята все-таки чаще оказывались среди летчиков-истребителей). А вот смеялся он как-то уж очень откровенно громко, во все легкие (богатырская грудь его в это время так и ходила ходуном), заразительно смеялся. Припухлые глаза капитана с крапчатой золотинкой в зрачках излучали тепло, и люди при нем становились искреннее и проще. Я не помнил случая, чтобы члены его экипажа повздорили между собой. И с вышестоящими командирами Костров никогда не пререкался, а если те были неправы, умел убеждать их. В отличие от других офицеров этого обаятельного отзывачивого человека в нерабочей обстановке называли по имени и отчеству, а близкие – просто Степанычем.

Гранитно-цельный, волевой, независимый в суждениях и действиях, он производил на всех большое впечатление. В душе его царил безупречный порядок, и с ним всегда было легко. Ребята между собой звали его "магическая сила", за эту его смешную присказку. А между тем, в нем и впрямь была какая-то магическая сила, притягивавшая к нему всех, кто с ним общался.

Его военная доблесть уже была отмечена правительственными наградами. Кроме того, Костров был летописцем полка, в котором мы служили, за что его иногда звали Нестором. Впрочем, он и других (в том числе и меня) привлекал к этой работе. В огромной амбарной книге, украшенной цветными заголовками и виньетками, а также незамысловатыми рисунками, встречались рассказы о воздушных схватках с врагом, о бомбежках тылов противника, о полетах к партизанам, написанные самими летчиками, техниками, инженерами.

А с какой трогательностью он относился к своей возлюбленной Ладушке Копеловой. Они знали друг друга с детства, вместе учились в школе, а когда началась война, она неожиданно-негаданно, но к великой радости Кострова, приехала в полк и устроилась в медчасти сестрой милосердия. Когда они оказывались вместе, на эту счастливую пару нельзя было не любоваться. Они надеялись обзавестись семьей, нарожать детей и прожить долгую жизнь в мире и согласии.

Командир части вопреки тогдашнему закону, о запрете военнослужащим жениться на фронте, в порядке исключения зарегистрировал их брак - за умение любить.

Осенью грозного сорок первого Костров получил задание, доставить на восточный берег Ладожского озера минометы и снаряды для пехотинцев, сработанных руками ленинградцев на судостроительном заводе, носившем имя Жданова, который тогда возглавлял партийную организацию Ленинградской области и города и являлся членом Военного совета Северо-западного направления Ленинградского фронта.

Правый берег Свири, ставшей на долгие месяцы линией фронта, занимали немцы. Они без конца обстреливали наши позиции, намереваясь окружить Ленинград вторым кольцом блокады. Снаряды рвались на улицах Лодейного Поля и других населенных пунктов, где, по мнению фашистов, находились крупные подразделения советских войск. Именно это-то обстоятельство и удерживало врага от форсирования реки. Между тем вдоль левобережья оборону вели, главным образом, рабочие, колхозники, бойцы ПВО.

Особых трудностей в выполнении этого задания не предвиделось. Маршрут был известным, географические координаты конечного пункта четко определены. Да и не за тридевять земель предстояло лететь. И с погодой нам, можно сказать, повезло: небо почти сплошь обложило тучами. Лохматые и тяжелые, они кропили схваченную ранними холодами землю дождем вперемежку с градом. В такую погоду, как говорится, хозяин собаку из дома не выгонит. По курсу полета тоже наблюдалось скопление облаков, что нам опять же оказалось на руку, уменьшало степень риска быть перехваченными на пути рыскавшими над озером истребителями противника. Как правило, они не отваживались летать в непогоду, по приборам, когда не видно земли, хотя, конечно, среди фашистов тоже было немало храбрых вояк. Для нас же слепые полеты стали привычным делом.

Но несмотря на приемлемые условия для выполнения этого ответственного задания, мы были вынуждены задержаться с полетом, потому что немцы с утра ожесточенно обстрели-

вали из дальнобойных орудий район аэродрома. Огонь велся беспорядочно, чтобы деморализовать население и воинские части, посеять панику. Но моральный дух ленинградцев оставался на высоте, и ничто не могло его поколебать. Несколько снарядов взорвались на окутанной морозным туманцем или изморосью взлетно-посадочной полосе, взметнув в низкое небо комья земли и клубы дыма. Наш самолет тоже пострадал, и ремонтники сказали нам, что только к вечеру заделят пробоины в плоскостях и фюзеляже.

Воспользовавшись временным простором, второй пилот Берестов отпросился у Кострова съездить в Ленинград, чтобы узнать о судьбе своих деда и бабушки, которые уехали перед самой войной в город Ленина погостить у своего старинного друга Ивана Ивановича, работавшего в Музее антропологии и этнографии. Уехали, и связь с ними оборвалась.

- Адрес знаешь? - спросил Костров.

- Знаю, где работал Иван Иванович. Там подскажут.

Костров подумал немного, посмотрел на часы с решеточкой на циферблате и махнул рукой:

- Двигай. Только не задерживайтесь долго. Однако одному опасно. Возьми башенного стрелка с автоматом.

Командиру было известно, что я родом из Ленинграда и могу помочь Берестову в поисках предков.

Надо ли говорить, как я обрадовался возможности увидеть Питер, как нередко называли его ленинградцы. Я давно мечтал пройтись по набережной Невы, как это делал во время белых ночей, когда можно было даже читать, увидеть величественного Медного всадника, Аничков мост с конями, удерживаемыми под уздцы спешившимися всадниками, неповторимые Эрмитаж, Исакий, Адмиралтейство, Петропавловскую крепость, сияющие купола и шпили соборов.

Не прошло и часа, как мы (нас подбросили на попутной полуторке) были в городе, среди недвижных обледенелых громад с ободранными фронтонами и фанерными или одеяльными заплатами на окнах, где выпетели стекла, с торчавшими из форточек трубами от буржуек, из которых кое-где курился тощий дымок. День выдался пасмурным. Тяжелыми тучами заволокло небо, и на улицах было непривычно тихо и

сумрачно. А взрывы где-то вдалеке только подчеркивали эту тишину. Помпезные дворцы, закопченные толовой гарью, походили на мертвых исполинов из какой-то другой, канувшей в небытие, жизни. Бросалась в глаза и пустынность на классически прямых и длинных проспектах с высорывавшимися из-под снега ребрами железных противотанковых "ежей", заторможенность в движениях одиноких, промороженных до костей, прохожих без каких-либо эмоций на лице. Все обессиленно тихие, тощие, с ног до головы замотанные бог знает во что. Иные едва переставляли ноги, нащупывая путь на скользких тропках меж припорощенных сажей сугробов, которые местами возвышались до окон первых этажей опаленных огнем зданий, скрывали бездвижные трамваи. Некоторые тащили салазки с поклажей: случайными дровишками, обледенелыми ведрами и бидонами с водой, какими-то пожитками, а то и завернутыми в тряпье мертвецами. К ним вместе свойной пришло неутешное горе. Часто останавливались, приваливаясь к облезлым стенам, чтоб не упасть от бессилия. И тогда мы устремлялись к несчастным, смертельно уставшим людям, чтобы помочь им.

Несколько раз нам преграждали дорогу патрули с винтовками, проверяли документы и люди из военного ополчения. Из противогазных сумок у них торчали бутылки с противотанковой горючей жидкостью, к которым были прикреплены большие спички и терки.

Неподалеку от Музея антропологии и этнографии, где работал Иван Иванович, мы увидели молчаливо жавшуюся к стене очередь - за хлебом. Угрюмые, отрешенные лица с пергаментными ввалившимися щеками. Но горше всего было глядеть на детишек с огромными недетски печальными глазами, вобравшими в себя все страдания блокированного города. То и дело попадались нарисованные на стенах синие стрелки с надписями: "Бомбоубежище", "Эта сторона улицы наиболее опасна при артиллерийском обстреле", объявления типа: "Похороню умершего за продукты".

- Веселенькая прогулка, - зло мотал головой Берестов и крыл фашистов трехэтажным матом.

На массивных дверях музея с забранными фанерой окнами висел увесистый замок. Но нам удалось найти человека, который там работал не то истопником, не то сторожем, маленького невзрачного мужичонку со склоненным на сторону лицом, в длиннополом, с чужого плеча, пальто, подпоясанного новеньkim армейским ремнем с латунной звездой на пряжке. Берестов подступил к нему с вопросами, описал приметы своего деда Арсентия Спиридоновича.

- Высокий, прямой, с откинутой назад головой, стрижка под бобрик, короткие усы щеткой и короткая остроконечная бородка. Ногу подволакивает.

- Как же, как же, очень даже видел его. Не раз наведывался к нашему Ивану Иванычу вместе с супружницей. Занятная дама, вся голубая, а волосы белее белого. Дедалом называла своего мужа или золотком. Смешновато выходило.

- Все правильно! - восхлинул Берестов, сразу же вспомнив, что сигары деду присыпал из Ленинграда этот самый Иван Иванович. Дед не раз заводил о нем разговор.

- А где его можно повидать?

У сторожа задергался угол рта:

- Приказал долго жить Иван Иваныч-то, вот какое дело.

- Как это?

- А уж как водится. Теперича, милок, люди-то мрут, словно мухи.

- Адрес можете назвать?

- Охтинское кладбище.

- Я о том, где жил. Может, проведете? - Берестов достал из парашютной сумки банку американской тушеники и отдал сторожу.

- Отчего не провести, - оживился мужичок, пряча гостинец за пазуху. - Пойдемте, пока спокойно.

На соседней улице с наклонно врытыми в землю рельсами, возле развороченных снарядами домов мы увидели школьников, разбирающих завалы из железа и камней, слышали приглушенный плач жильцов, что-то отыскивавших в крошеве опаленного огнем кирпича.

- Что натворили, изверги собачьего рода, - Берестов сжал кулаки. - Была б моя воля, всех бы повесил за мошонку,

родственников согнал сюда восстанавливать город. И не отпустил, покуда не отстроили бы все заново и еще столько же, чтобы другим гадам неповадно было соваться к нам.

- Тех, кто погребен под этими руинами, не восстановишь, - отзывался наш провожатый, которого мы поддерживали под руки.

В конце улицы, где горели разложенные для обогрева костры, сооружался оборонительный рубеж: горожане ставили сваренные из рельс надолбы, тюкали ломами и кирками не податливую мерзлую землю, копая противотанковый ров, укладывали мешки с песком в подворотнях и проемах окон. Поражала спокойная будничная деловитость, как будто фронт и не придвигнулся к городу, как будто и не ожидался со дня на день новый штурм Ленинграда вражескими войсками. А где-то в стороне с треском все рвались и рвались шрапнельные снаряды, звенели высаженные взрывной волной стекла, вздрагивала земля, и удушливо-сладковатый запах толовой гари стоял над улицами.

Потом, по прошествии многих лет, когда все мы уже жили мирными делами и заботами, увиденное тогда в Ленинградеказалось похожим на кадры какой-то замедленной съемки в кинохронике, где все события сняты как бы под водой. Цвета и краски - они тогда не могли даже присниться.

Поездка в Ленинград чуть оправившихся после болезни Дедала и Бабани представлялась Берестову совсем никчемной, и даже несуразной.

И вдруг послышалось откуда-то с крыши:

- Во-о-здух! Во-здух! Воздух!

И тут же пронзительно резко завыла сирена. Не дай-то Бог ее услышать когда-нибудь нашим детям и внукам. Душу выворачивало. А тогда воздушные тревоги уже стали для ленинградцев обычным явлением. В налетах вражеской авиации участвовали обычно 12-15 самолетов, но отражать их в условиях сплошной облачности было трудно нашим истребителям и зенитчикам. Гитлеровцы бросали бомбы прямо из облаков.

Казалось, люди уже привыкли к этому и не спешили в укрытия. А иные просто пренебрегали опасностью.

- Вот тамотки и жил покойный-то Иван Иваныч, - сторож указал на узкий каменный двор-колодец, образовавшийся из приставленных друг к дружке мрачных корпусов дореволюционной постройки, колодец, окрещенный Берестовым "братской могилой". - Квартеры-то я не знаю, поспрошайте у жильцов, скажут, - и сторож засеменил обратно, переваливаясь через сугробы и опасливо поглядывая в сумрачное небо, в котором гудели моторы и пухли разрывы зенитных снарядов.

Две пожилые женщины (а может, и молодые - голод до неузнаваемости менял людей) из домовой пожарной дружины в толстых полуушалах и прожженных ватниках, с большими железными щипцами в руках - для тушения зажигалок, стали загонять нас в тот самый двор, на который указал сторож.

- Там, в подвале - убежище. Не мешайте! - говорили они задеревенелыми от холода голосами, прислушиваясь к раздиравшему небо вою "керосинок" - баков с горючим, которые немцы бросали с самолетов на дома, чтобы вызвать пожары. Фашистские стервятники шныряли где-то поблизости. Их ревущий рокот заглушали частые хлопки зениток, и все сотрясалось вокруг, как во время землетрясения. Черно-пепельные шапки разрывов зенитных снарядов повисли над домами. Один из "лаптежников", как наши авиаторы называли одномоторные пикирующие бомбардировщики врага "Ю-87" с неубирающимися шасси в похожих на лапти обтекателях, развалился на куски чуть ли не над нашими головами, и мы увидели упавшие на крышу дома покореженные плоскости с черными крестами, а в небе - белое облако раскрывшегося парашюта.

Берестов было обратился к женщинам с вопросом об Иване Ивановиче, а вернее, о том, где он жил, но они как и не слышали его, поспешили к какой-то старушке, перебирающейся с санками через сугроб, крича на ходу, чтобы мы поскорее убрались в укрытие.

А навстречу нам уже шла группа вооруженных лопатами и топорами людей, в центре которой мы увидели белобрысого немца в летней форме с железными крестами на груди. Он был на голову выше конвоиров, ошелото озирался, выкатывая белки глаз, словно не верил тому, что с ним произошло.

Наверно, это его самолет подбили минутой назад, и он опустился на парашюте.

Несмотря на то, что мы не раз летали в глубокий тыл врага, с немцами нам не доводилось встречаться вот так - нос к носу. В лучшем случае видели островерхие черепичные крыши домов, под которыми гнездилась чужая жизнь со своими помыслами и заботами, остыны разрушенных строений с пустыми глазницами окон, мощные дворики с аккуратными рядами декоративных и фруктовых деревьев или глубокие воронки от фугасов.

Немецких же летчиков видели только на фотографиях в газетах. Мне запомнился один из таких снимков, обошедший в 1939 году страницы крупнейших газет многих стран. Разрушенная немецкими бомбардировками Варшава, и на улице, засыпанной щебнем, поляк тянет двухколесную таратайку, на которой сидят, развалившись, два упитанных летчика Люфтваффе с самодовольными садистскими харями и смотрят на свою разбойничью работу. Фашисты надеялись запугать этим снимком народы, а вызвали лютую ненависть к себе. С той поры голубой мундир Люфтваффе я и мои товарищи уже не могли отличить от черного эсэсовского мундира с черепом и костями на фуражке. Какой-то шустрой мальчишка поднял с земли зазубренный осколок от зенитного снаряда и, изловчившись, кинул в фашиста.

Немца увели, а нас заставили спуститься в бомбоубежище. Противиться не было смысла: если бы с нами что-то случилось, командиру экипажа тоже не поздоровилось бы.

В промозглом подвале с тяжелым застоявшимся запахом было холодно, как в погребе, и сумрачно. Блеклый желтоватый свет фонаря "летучая мышь", в котором горело, сильно коптя, едучее глаза масло, едва достигал сырых каменных стен и был каким-то мертвенным, окоченевшим. Здесь царила жуткая тягостная тишина.

И тут, среди измученных, в напряжении оцепеневших людей, тесно сидевших на тощих засаленных тюфячках, а то и прямо на цементном полу, оказалась девушка, знавшая Ивана Ивановича. Собственно, ее разыскал Берестов. Наверху

рвались бомбы, заглушая надсадистый лай зениток, она вздрогивала, сжималась, замирала и боязливо озиралась по сторонам, как бы ища поддержки у соседей, хлюпала носом. В ее светлых студенистых глазах застыл страх. Зубы выбивали дрожь. И может, поэтому пилот стал ее успокаивать.

- Этот домище невозможно разрушить. Смотрите, какое надежное перекрытие, - и он для вящей убедительности стучал кулаком по щербатым стенам, разрисованным и исписанным мелом и углем находившимися в подвале ребятишками.

Мы стали подбадривать девушку, заверяя, что сюда никакая бомба не проникнет.

Конечно, кривили душой: если бы перекрытие было надежным, тогда бы здесь не стояли подпорки из бревен, как крепи в шахтах или на рудниках, и дом не ходил бы ходуном, а едва горевший в насыщенном углекислотой воздухе фонарь не раскачивался бы маятником, бросая зловещие блики в разные места.

- Можно подумать, что уже конец света, апокалипсис, начало страшного суда. - Берестов потянулся к фонарю, поколдовал что-то, и через минуту тот ожила, высветив дальние углы, и уже не коптил так безбожно, не болтался из стороны в сторону, дрожавшие на стенах зыбкие, призрачные тени от согбенно сидевших людей замерли.

- А теперь похлопаем в ладоши, - пилот изобразил знак рукоплескания и стал дурашливо раскланиваться во все стороны под разгоревшимся фонарем, пытаясь как-то расшевелить молчаливых людей с отрешенными лицами. Но им было не до шуток. Многие знали, что, если в дом угодит "пятисотка", то проквозит донизу, и от строения останется только груда кирпичей: огромный могильный холм для всех. И таких уже не мало образовалось в городе. Но как бы там ни было, а уверенные движения и нарочито бодрый голос пилота подействовали на эту беззащитную, одиноко сидевшую девушку успокаивающе, и она уже не вздрогивала поминутно и не сжималась в комок, закутанная крест-накрест шалью.

- У меня папа наверху, - проговорила она измученно, с запинкой. Сдавленно всхлипывая, вытащила руку из ватной муфты с облезлой выпушкой и помпоном из заячьего хвоста

на стяжном шнурке и стала размазывать по скуластым щекам слезы тыльной стороной ладони, эта потерявшаяся среди многолюдья и до смерти перепуганная девочка. Да она и была похожа на девочку в свои неполные шестнадцать лет. Нескладная, большегорная, с прозрачными, широко расставленными глазами и маленьким подбородком. - Больной он, с застуженными ногами, не может ходить.

- Фрицы и близко-то не осмелятся подлететь к вашему дому: на нем же зенитка, - успокаивали мы девушку, пораженные выражением ее больших, чуть навыкате, глаз. В них было столько неизреченного страдания и горя, что нам захотелось хоть чем-нибудь облегчить ее положение, взять под защиту. - Слышите, как здорово бухает. Попробуй-ка сунься!

- Я не смогла с ним остаться, - призналась она с отчаянием в голосе и как-то очень покаянно. - Не хватило характера. И он не разрешил: стреляет в них из окна: у меня все обрывается внутри. Презираю себя, - и рыдания сдавили ей горло.

- Полноте. Вы все равно не сумели бы помочь ему, находясь там, не так ли? - продолжали мы, чувствуя жалость к девушке и не зная, как подступиться к разговору о покойном Иване Ивановиче, об Арсентии Спиридоновиче и Анне Сократовне, которые жили у него и о которых она, возможно, что-нибудь знает.

- А мамы-то у тебя нету что ли? - спросил Берестов.
- Что?

- Про мать спрашиваю.
Она сделала глубокий судорожный вздох и, заливаясь слезами, сообщила: 13 июля 1941 года немецкие летчики разбомбили станцию Едрово, где в тот день находились более двух тысяч детей, эвакуированных из Ленинграда. Среди них в одном из железнодорожных составов находились ее младшие братья, сестры и мать.

- Теперь мы с папой одни-одинешеньки на всем белом свете, - сдавленно всхлипывала убитая горем девушка, теребя бахрому суконной шали болотного цвета. - Совсем одинешеньки. А я потерялась и боюсь всего. Кажется, схожу с ума.

- Ну зачем же так, не надо. Свет не без добрых людей.

Ее слова потрясли нас, мы даже не нашлись, что ответить. Да и что можно было сказать? Лезть же со своими вопросами в ту минуту не было смысла.

Впрочем, пилот что-то еще говорил, пытаясь подбодрить девушку, кажется, не совсем уместное.

По радио объявили отбой. Кряхтя и охая, люди тяжело поднимались с чемоданов и узлов, тянулись к выходу.

- Мы поможем, - Берестов взял у девушки саквойж, наподобие тех, с какими раньше земские врачи носили принадлежности для обследования больных и медикаменты. Она поплелась за нами. Взгляд у нее был какой-то потусторонний.

Девушка и ее отец жили на самой верхотуре, и она несколько раз останавливалась на обледенелых ступеньках передохнуть, пока мы, наконец, не добрались по темной смердящей лестнице до их квартиры, весьма нескладной, со множеством переходов, арок, выступов и дверей (на некоторых висели замки и сургучные печати), с тяжелой местами обсыпавшейся лепниной на потолке, с несуразной кухней, окно которой выходило на лестничную площадку.

В большой неуютной комнате со стенами, покрытыми в углах копотью и инеем, было пронзительно светло, пахло пороховой гарью и лекарствами.

Отец девушки полулежал на высокой, как эсминец, кровати с никелированными спинками, в свитере с глухим воротом и армейском овчинном полуушубке, обложенный подушками. Кровать стояла возле распахнутого окна с бумажными полосками крест-накрест на уцелевших стеклах, в котором виднелись крыши домов, усеянные ржавыми осколками снарядов и щебенкой.

Это был крупный мосластый старик с серым узловатым лицом, вернее, он только сначала показался стариком и, как угадывалось, большого роста. Массивный, изборожденный продольными морщинами лоб нависал над ввалившимися острыми глазами этаким квадратным карнизом, обрамленным снизу путаной щетиной бровей, похожих на взметнувшиеся крылья какой-то хищной птицы. Костлявый крючковатый нос выдвигался из-под карниза весьма воинственно, точно клык, а

торчавшие в стороны пики гостейших, немыслимых по величине усищ (Буденный ему бы позавидовал) с желтыми подпалинами от курения заслоняли впалые щеки и говорили о бывлом величии этого исполина. Громадные костиистые руки его в перчатках сжимали маузер. Из ствола этого оружия времен Гражданской войны еще курился дымок. Поверх серого суконного одеяла лежали стопкой листы бумаги в линейку, исписанные крупным корявым почерком и привязанный бечевкой карандаш (чернила бы превратились в ледышку на таком холода).

Увидев дочь в сопровождении незнакомых людей, он насторожился, сведя брови-крылья к переносице, выдернул шнур у громко вещавшей над его головой черной картонной тарелки репродуктора и, не спуская с нас колючих глаз, вопросил:

- Кто такие? Откуда?! - и потребовал документы.

- Однако, - покачал головой Берестов, протягивая удостоверение.

- Для порядка, - проговорил уже обмякшим голосом хозяин. Вид у него был грозный, несмотря на беспомощность, а голос низкий и густой, где-то срывавшийся на клокочущий рык. Берестов говорил потом, что своими голосовыми данными этот питерец мог бы, пожалуй, поравняться с его дедом Евлампием. Что же касается бдительности, то она была понятна. Не сумев войти в город, враг пытался нанести ленинградцам удар в спину, засыпая диверсантов, намереваясь организовать "пятую колонну".

Удостоверившись в наших личностях, хозяин отложил оружие и представился, приосанившись, насколько было возможно в его положении.

- Капитан буксира Ладожской военной флотилии. Рад приветствовать на своем корабле! - и удущливо закашлялся, приложив угол одеяла к усищам. Большое ширококостное тело затряслось, заходило, на лбу выступила испарина.

- Павел Демьянович, - сказала нам девушка, как бы выручая отца. - Простудился еще, - поправила ему одеяло и потянула за веревку, привязанную к раме окна, верхняя часть которой была наглухо заколочена досками. Оно закрылось, и в

комнате стало сумрачно. Когда глаза привыкли к полумраку, мы увидели у изголовья хозяина огромную карту Европейской части Советского Союза, утыканную булавками с красными флагами вдоль границы боевых действий. А над ней – портреты Сталина и Кирова.

Центр военных операций на ленинградском фронте в то время находился в районе южнее Ладожского озера. Противник намеревался сломить сопротивление наших войск на реке Волхов и двинуться к реке Свири, чтобы соединиться с финскими войсками и замкнуть кольцо блокады, лишить город связи со страной.

Жирной красной чертой была проложена на карте "Дорога жизни", как ленинградцы любовно называли трассу по Ладожскому озеру. Она проходила от Ленинграда через Осиновец, Новую Ладогу, Волхов, Тихвин и далее на Череповец.

Здороваясь с нами, хозяин посетовал на нерасторопность зенитчиков.

- Салаката поди еще. Вот и жарят в белый свет, как в копеечку, - поддакнул я старику, отметив про себя, что силы в его невесомой, холодной, как у мертвеца, руке - кот наплакал. Как он еще стрелял.

На ребристой рукоятке маузера поблескивала монограмма с надписью: "Стойкому защитнику пролетарской революции от Реввоенсовета СССР".

- И я, кажется, тоже мазал, - признался хозяин, поморщившись. - Уж больно летают, ироды, быстро, не успеваешь прицелиться. А ведь в Гражданскую сшиб из этой пушечки германца фирмы "Альбатрос". Был у них такой двухместный разведчик. Летчиков-то мы в плен забрали, а тот аэроплан применили по назначению, но уже с нашей стороны. Ну да что говорить, у той машины и скоростенка была всего около ста километров.

Потом спохватился:

- Что же мы?! Надо чаек спроворить.

Мне показалось, что хозяин хотел подняться с кровати и начать хлопоты у колченой печурки из железа с выведенной в стену трубой, на которой висело какое-то бельишко.

- Алиса, ну-ка, расссторайся, душа, - сказал дочери, и таким образом мы узнали имя девушки.

Она как бы очнулась, открыла буфет с толстыми резными стеклами и достала тарелку, на которой сиротливо лежали два ломтика хлеба величиной со спичечный коробок каждый и кусочек сахара, водрузила ее на середину огромного стола и вздохнула, прежде чем оторвать глаза от тарелки. Двигалась плавно, еле-еле переставляя ноги в огромных ботах с оборванными пряжками, как будто ее окружала вода.

Нам было известно: в городе четвертый раз уменьшали норму выдачи хлеба населению (она уже не обеспечивала физиологического существования), и Берестов, не раздумывая, вытряхнул из парашютной сумки предназначавшиеся для его дедушки и бабушки банку американской тушенки, кулек яичного порошка и несколько плиток шоколада.

- Извините, пожалуйста, но дело вот в чем, - начал он, снимая фуражку и поправляя кобуру, - кажется, ваша дочь знала Ивана Ивановича... Видимо, и вы...

- Из музея антропологии. И что же? Это наш сосед по лестничной клетке. То есть бывший сосед. А вы, собственно, как ему доводитесь? - Павел Демьянович насторожился.

- Видите ли...

- Говорите, говорите, - он впился в Берестова своими глазами-колючками.

- Видите ли, кажется, у него останавливались мои дедушка и бабушка.

- Арсентий Спиридонович и Анна Сократовна? - брови хозяина впоплизли на лоб.

- Где они?!

Павел Демьянович покосился на дочь, расставлявшую на столе чашки, и потянулся за лежавшей на подоконнике трубкой, стал набивать ее табачной трухой из коробки. Руки у него дрожали.

Я достал красочно вышитый кисет с махоркой, полученный недавно в качестве подарка от неизвестной мне девушки из Ярославля. Во время войны такие подарки на фронт приходили от тружеников тыла с пожеланием победы над фашистами. У меня с ней даже завязалось заочное знакомство.

- Может, мое курево попробуете.

- Отчего же не попробовать. С превеликим удовольствием, согласился хозяин, беря в руки кисет. Кажется, он специально тянул с ответом.

- Где они? - повторил Берестов, и я не узнал его голоса.

Павел Демьянович сделал две или три нервных затяжки из нескладно скрученной козьей ножки и стал разгонять ладонью дым. Большое костлявое лицо его подергивалось.

- Увы, - наконец, сказал он осевшим голосом, покрываясь испариной от волнения. - Ничего определенного ответить не могу.

- Но вы, кажется, что-то знаете о них.

- Да, это замечательные люди...

- Я не о том, - перебил Берестов.

- Понимаю, чувствую, - Павел Демьянович прикрыл глаза, и голос его понизился до шепота, словно горло сдавило спазмой. - Они вызвались помочь моей покойной жене вывезти ребят из Ленинграда. Им и самим надо было выбраться. Так что имелся обоюдный интерес. И кончилось все трагически...

- На станции Едрово?! - Берестов опустился на стул и зажал голову руками, почувствовав, что никогда больше не увидит Дедала и Бабаню. Он был в страшном отчаянии и, казалось, вот-вот зарыдает. Да и мне тогда сделалось не по себе.

- Стало быть, уже в курсе, - и хозяин посмотрел на дочь. - Но, - тут он сделал внушительную паузу, подняв указательный палец, - о ваших мне ничего решительно неизвестно. Может, живы, на войне ведь без чудес не бывает. Однако что говорить. Тяжело, очень тяжело, - и снова закашлялся, а когда приступ прошел и хозяин овладел собой, то попросил дочь принести стоявшую за дверью трость.

Берестов узнал ее. Дедал ходил с этой палкой после гибели в Испании его сына и отца Берестова, когда у него отказала нога.

- Вот, забыли в суматохе, - сказал Павел Демьянович. - Он без нее уже обходился. Может, возьмете, все-таки память.

Берестов прижал к груди бамбуковую палку с костяным на балдашником в виде дракона, которой когда-то пользовался еще его прадед Спиридон.

- Да, да, конечно. Спасибо, - бормотал пилот, не в силах совладать с собой. На глазах у него навернулись слезы.

Чтобы как-то разрядить обстановку, я тоже схватился за свои вещмешки и стал доставать продукты: буханку хлеба, сахар и кусок сала.

- Это уж слишком, - Павел Демьянович протестующе выставил обе руки. - И пожалуйста, уберите назад.

- Нас кормят, - сказал я.

- Три раза в день, - уточнил Берестов.

Алиса смотрела на продукты, как на чудо. В ее светлых, неестественно округлившихся глазах можно было прочесть даже испуг. Боялась (как потом призналась Берестову), что мы послушаемся ее отца и спрячем все в свои сидоры.

- Защитникам надо хорошо питаться, - продолжал хозяин. - А мы... а мы почти привыкли.

В его "почти" не было рисовки, хотя привыкнуть к голоду вряд ли возможно. А вот скрывать его ленинградцы научились. Обострившиеся порядочность, благородство с изрядной долей щепетильности, свойственной русскому народу, чувствовались в каждом его слове.

- Они думают взять Питер измором, поставить на колени. Дудки, - зло усмехнулся Павел Демьянович. - Да, голод может сократить нашу плоть, но дух наш ему не по зубам. Землю будем есть, да и едим уже, а не откроем ворот города, - и такая убежденность слышалась в его голосе, такая вера, что нельзя было оставаться спокойным, слушая эти не лишенные патетики слова. В войну ее тоже не чурались, но она была искренней, шла от души и воспринималась сердцем. У меня даже горло перехватило и защипало глаза. И я подумал: нет, никогда не пробиться немцам к Ленинграду и не сравнять его с землей, не затопить, как это обещал сделать Гитлер.

Я по просьбе хозяина разломал на дрова один из дубовых стульев, и в печурке занялся жаркий огонь, весело заплясали блики по узорчатым стеклам буфета и бокам старенького пианино с точеными подсвечниками.

Такой же "Беккер" с золотыми буквами на крышке был и в доме Берестовых, и на нем по вечерам музиковала неунывшая Бабаня. И тут мысли пилота снова обратились к Де-

далу и Бабане, которых он так любил. Неужели погибли? Ему стало совсем невмоготу, и он боялся раскваситься. Но в следующую минуту, подумав о Павле Демьяновиче и Алисе, горе которых было ничуть не меньше, взял себя в руки.

- Давно? - спросил я у хозяина, показывая на его ноги.

- С сентября. Ночью тащили баркас с пехотинцами. Разыгрался шторм. От ударов волн разошлись швы на моей посудине. Вода хлынула в машинное отделение. Пришлось взять курс на берег. А утром налетели "юнкерсы". Мы отбивались из "сорокапятки", из винтарей палили. А буксир наш стал погружаться в воду и скоро затонул. Выловили меня и еще несколько человек, кто оставался до последнего на мачте, моряки подоспевшей канонерки. С той поры и не чувствую своих ходуль. Да хоть бы подчинились немного, а то валяются сами по себе, будто и не мои. Горе, одним словом. И мне, и дочери. Связал ее по рукам и ногам. Однако умирать рано. Еще есть силенки, а где применишь в моем положении? - и он со скрученной грудью вздохнул.

Чтобы отвлечь внимание от себя, хозяин заговорил о Синявской наступательной операции войск Ленинградского флота, завершив которую – увы! – тогда советским войскам не удалось, так как в районе Тихвина создалась угрожающая обстановка и значительную часть войск пришлось перебросить туда. Но силы оказались неравными, и 8 ноября немцы захватили этот город. Была перерезана последняя железнодорожная магистраль, по которой к Ладожскому озеру транспортировались наши войска, продовольствие и боеприпасы.

- Враг атакует, - Павел Демьянович энергично водил обгрызенным мундштуком курительной трубки по карте, шевеля усищами, - пытается прорваться к Свири, и через Волхов и Войбокало к Ладожскому озеру, чтобы соединиться с финнами. Кроме того, вознамерился, видите ли, сколотить "пятую колонну", как в Мадриде, когда Франко поднял мятеж против республики. Ничего из этого у немчурох не получится. История не знала случая, чтобы наш город когда-либо оказался под пятой врага. И не узнает.

И я видел, как напряглось и побелело лицо Берестова, как грозно сомкнулись брови и заходили желваки на скулах.

Подумалось, что говоря обо всем этом, Павел Демьянович как бы подбадривал нас: мол, не вешайте носа. Такому оптимизму можно было только позавидовать. И порадоваться. Да, он оказался не только гостеприимным хозяином, но и большим патриотом.

Печурка с клокочущим чайником зарумянилась боками, и в комнате стало теплее. Алиса сняла шаль. На плечи упали густые волосы цвета красной меди. От них трудно было оторвать взгляд, такими они казались великолепными, будто вообрали в себя светящийся жар от раскрытой топки. Девушка словно уловила наши зачарованные взгляды, собрала волосы в пучок и небрежно закрутила на затылке.

Жесты у нее были вялые, и двигалась она медленно и неслышно, как в полусне, только теперь мы заметили, что у нее опухли ноги, думала о чем-то, разрезая хлеб на тонкие, почти прозрачные дольки. Собрала крошки и положила в рот. Это напомнило мне своего деда Евлампия, который всегда поступал так же, хотя хлеба в доме хватало. А когда я однажды бросил недоеденный кусок, старик дал мне деревянной ложкой такого щелбана, что даже шишка на лбу вскочила.

- Так-то, юнец, - назидательно произнес он. - Хлеб наш насущный дажь нам днесь. Не будет хлеба, не будет и обеда, а хлеб на столе, и стол - престол.

Только за чаем, от которого терпко пахло распаренной хвоей – эта самодельная заварка помогала ленинградцам бороться с цингой, а мне опять же напомнила детство, когда я с мальчишками жевал смолу, чтобы зубы не болели, – Алиса немного ожила. На обтянутых кожей скулах выступили красные пятна. И глаза как бы изменили цвет, стали зелено-голубыми, словно их подкрасили глазурью.

Павел Демьянович поведал с горечью, как в первых числах сентября фашисты разбомбили Бадаевские продовольственные склады и над Питером тогда долго стояло зловещее малиновое зарево. После этого норма выдачи продуктов резко сократилась. Алиса ходила с подругами на погорелье за "сладкой землей".

- Там половина города побывала, - сказала девушка. - Этую землю даже продавали на базаре. - Голос у нее оставался

замороженным, протяжно дребезжащим, он всплывал как бы откуда-то из глубины. - Даже выменяла коробку из-под ботинок пропитанной патокой земли на лекарства папе. - Она виновато и жалостливо улыбнулась. Рот у нее был несколько великоватый, два верхних передних зуба напоминали лопаточки и чуть наступали на короткую нижнюю губу.

- У вас, слушаем, не осталось такой земли? - я и сам не знал, для чего это спросил, наверно, не очень-то уместно и корректно. Хотелось сравнить ее с хлебом, которым нас угостили хозяева. Такого тяжелого, напоминавшего застывшую глину или замазку хлеба мы еще никогда не едали. Позже мне стало известно, что в него примешивалась целлюлоза и древесные опилки.

Но девушка, кажется, не услышала моих слов, устремив задумчивый и тягучий взгляд в пространство перед собой. Крупные, полуоткрытые губы ее и по-детски миниатюрный подбородок вздрагивали, на золотых ресницах повисли слезинки.

- С бадаевской землицей мы еще в октябре управились, - горько усмехнулся Павел Демьянович, стараясь отвлечь наше внимание от дочери. - И с землей, и с кожаными портфелями, и яловыми сапогами, и со столярным kleem. Ну да невелика потеря, будут у нас еще и получше портфели и сапоги, когда разделаемся с фашистской нечистью.

И это было сказано с такой убежденностью, что вряд ли кто посмел бы усомниться в правдивости его слов.

Да, ленинградцев можно было приговорить к голодной смерти, как это вознамерился сделать Гитлер, можно было лишить жизни, но победить их было нельзя.

Удивительно быстро мы прониклись симпатией и уважением к Павлу Демьяновичу. Даже прикованный недугом к кровати, он хотел быть полезным обществу и, взяв себе в пример литературный подвиг Николая Островского, принялся писать книгу о пережитом.

По просьбе Берестова хозяин прочитал кое-что из своих записок: как учился в морском корпусе и был отчислен за бунтарство, как во время Первой мировой войны плавал артиллеристом на крейсере. Он был знаком с моряками, которые в

девятьсот пятом подняли восстание на броненосце "Потемкин", названном Лениным "непобежденной территорией революции", а также с моряками легендарного крейсера "Аврора". В дни Великого Октября еще безусым юнцом участвовал в борьбе за власть Советов. В начале Великой Отечественной Павла Демьяновича назначили командиром корабля в военной флотилии на Чудском озере. Здесь ему и его боевым товарищам пришлось испытать горечь поражения. Но моряки не сдались. Расстреляв все снаряды, затопили корабль и сошли на берег, пробились через вражеское кольцо с остатками флотилии и снова вступили в активную борьбу с врагом.

Берестова тоже не удивило, что Павел Демьянович взялся писать мемуары.

- Время такое, - заметил он. - Вызывает в человеке желание оглянуться, подвести итоги. А мешкать нельзя...

Потом я узнал, что многие ленинградцы писали воспоминания, вели записи, дневники. Некоторые из них позже были опубликованы в печати. Чаще всего они адресовались грядущему поколению, тем, кто будет жить без войн и страданий, чтобы знали, какой ценой эта жизнь для них завоевана.

- Не сомневаюсь, что ваши воспоминания окажутся полезными, - подбодрил его Берестов. - И в первую очередь нам, только что вступающим в жизнь.

- Хотелось бы, - ответил хозяин. - А между тем идею мне подал Арсентий Спиридонович, заметив однажды, что каждый человек должен написать хотя бы одну книгу и обобщить свое время в совокупности сделанного в жизни им самим, ибо в каждой судьбе есть достойное рассмотрения, а, может, и подражания. Впрочем, нестрашно, если там будет рассказываться только о заблуждениях и ошибках человека. Такие книги тоже учат, предостерегают от промахов. Мы как-то расфилософствовались с ним на эту тему и пришли к убеждению, что когда-нибудь будет создана серия: "Жизнь рядового человека". Она найдет своего читателя и будет пользоваться успехом. Впрочем, возможно, мы и ошиблись в своем предположении. Время покажет. Что касается моей работы, то я и адресую ее молодежи, чтобы знала, какой ценой досталась новая жизнь, почему одни получали пироги и пышки, а другие

тумаки и шишкы. Только при рассмотрении рядовой жизни можно это увидеть и понять. Ведь в ней нет показушности и лакировки.

Какую же силу духа надо иметь, чтобы работать в таких неподходящих условиях, думал я. Тогда даже электричество получали только важнейшие оборонные заводы и госпитали. Коптилка из зенитного снаряда была неразрывной спутницей Павла Демьяновича.

Берестову было приятно сознавать, что подвигнул моряка на этот нелегкий труд Дедал. И тут же лицо его омрачилось, когда он думал о своих предках, предполагая, что их постигла та же участь, что и жену и детей Павла Демьяновича.

А сколько выдержки, самообладания и такта проявлял Павел Демьянович в общении с Алисой. Это тихое несчастное существо пребывало в каком-то сумеречном состоянии. Глядя на нее, я вспомнил стихи Боратынского, которого так любила читать моя мать: "Есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бденье, - меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разуменье..." Состояние Алисы мы объясняли недоеданием, а также большим горем: утратой матери, братьев и сестер, болезнью отца, на выздоровление которого не было надежд. Видимо, это и наложило отпечаток на поведение и самочувствие молодой девушки, парализовало ее волю.

Очнется ли она когда-нибудь от печали, думал я, украдкой рассматривая ее блеклое лицо с выпирющими скулами в обрамлении рыжих волос, когда она поднялась со стула и, кутаясь в шаль, вышла на кухню. Павел Демьянович пожевал губами, дернулся землистой щекой.

- Все бы ничего, да Алису жалко - пропадет эта божья коровка со своим некоммуникабельным характером, заблудится в трех соснах без поводыря, - сказал он печально, как давно выстраданное, и голос его захрипел и оборвался. Он страшился за ее будущее. В ту минуту нас поразила его собственная немощность, хотя он и храбрился, пытался шутить. А на душе-то у него, видно, скребли кошки, когда думал о дочери.

- Была старшей в семье, - сказал через минуту. - Дети называли ее няней. Она всегда за них боялась, дрожала. Они

жались к ней, как цыплята к наседке. И вдруг никого не стало. Считает себя виноватой, потому что настояла на их эвакуации. Это опустошило ее. Ушла в себя, чего нельзя делать при тяжелом горе. Как же ей хотелось предохранить наше семейство от бед и опасностей. Вот и со мной осталась, чтоб облегчить мою участь. А сама-то больше всего нуждается в поддержке и утешении. Боюсь, как бы у нее не появились мысли о самоубийстве.

- Скажете такое.

- Всякое бывает. Она уже сломалась и говорила, что лучше бы не жить. Это может стать манией.

- Мы ее не оставим, - пообещал Берестов, почувствовав пронзительную жалость к безнадежно больному Павлу Демьяновичу и ответственность за эту странную и беззащитную девушку. Может, в те минуты в нем говорил покровительственный инстинкт мужчины к слабому полу.

Похоже, что Берестова чем-то привлекла тогда Алиса, может, слабостью своей, неприспособленностью к той суровой, страшной действительности, робостью и наивностью, которые бывают свойственны только детям. Да она и была почти ребенком. А, может, пленила своими пышными шелковистыми волосами цвета красной меди, которых было так много, что ее исхудавшее лицо, на котором остались только скулы и крупные, как у марсианки, глаза с поволокой, просто тонуло в них. А ведь тогда от недоедания и авитаминоза у многих жителей блокадного города стали выпадать волосы.

Признаться, она меня тоже зацепила, и если бы не Берестов, я бы, наверно, сделал попытку оказать ей особые знаки внимания. Но конкурировать с бравым летчиком мне было не по силам.

Покидая квартиру Павла Демьяновича, Берестов сказал старику, что оформит на Алису свой денежный атtestat.

- Родителей у меня нету, а в армии я на всем готовом, - так он объяснил свое решение в ответ на протест пользоваться материальной помощью летчика, хотя мать у Берестова была. И война на селе, где она жила с его сестрой Настенькой, тоже сказалась. Мясо и молоко у селян забирали для раненых солдат и офицеров. Деревенские жители чаще пробав-

лялись картошкой, капустой и солеными огурцами со своего огорода. Но разве можно было сравнить то сельское роскошество со скучностью блокадного пайка, где учитывалась каждая крошка. И как не противился Павел Демьянович намерению Берестова, тот настоял на своем. Алиса же пообещала, что как только встанет на ноги, так и расплатится.

Берестов переглянулся в ту минуту с ее отцом: для них слова девушки были добрым знаком.

- Знаю, летчикам теперь приходится туга, - сказал Павел Демьянович, прощаясь с нами. - Не хватает самолетов, боеприпасов. А кому легко? И чего сейчас хватает? Одного только горя. Но нельзя ему поддаваться. Надо сжаться в единый кулак, - и моряк стиснул свои исхудальные переплетенные синими жилами пальцы, - и так стукнуть по фашистам, чтобы от них осталось одно мокрое место. Варвары хотят сравнять наш город с землей, вернуть его морю. Но это им не удастся. Разве можно допустить, чтобы не стало величайшего памятника русской истории, культуры, колыбели нашей революции. Никогда! Ни за что!

Его пафос был искренним, слова шли от души и потому волновали.

Когда мы вернулись на аэродром, бесстрашные девочки-школьницы, паренки допризывного возраста и солдаты из аэродромной роты утрамбовали засыпанные щебенкой воронки, а механики уже начали снимать с капотов и радиаторов нашей машины ватные чехлы, убирать лампы и котелки подогрева, оттаскивать в сторону маскировочные еловые ветки.

И вот мы в самолете, Костров скомандовал:

- От винтов!

По самолету озабочом прошла мелкая дрожь, закрутились винты, вычерчивая перед заиндевелыми плоскостями прозрачные серебряные нимбы. Теплые моторы с залитым в маслобаки подогретым авиационным маслом запустились один за другим, что называется, с полуоборота. Погоняв их самую малость, мы стали выруливать на линию исполнительного старта. Когда командир разворачивал машину возле вы-

ложенного на снегу из черных полотнищ "Т", я увидел в сумраке кондыбавшего к самолету человека в промасленной куртке и глубоко надвинутой шапке-ушанке. Он так сильно припадал на одну ногу, что, казалось, вот-вот ткнется носом в землю, и все махал руками в широченных крагах с раструбами, как подстреленная птица крыльями, стремясь привлечь наше внимание.

- Что там еще стряслось, магическая сила! - сказал Костров, недовольный новой помехой, и уменьшил обороты моторов. - Ну-ка, Макар, выясни, - обратился к сидевшему на правом сиденье Берестову, - да поживее.

В хромом мы узнали клепальщика из ремонтной мастерской, помогавшего нашим технарям ночью, при слабом свете электропереносок (соблюдалась светомаскировка) ставить дюралевые заплаты на пробоины от осколков зенитных снарядов в плоскостях. Он был такой замороженный, такой немощный, обросший трехдневной щетиной и помятый, этот клепальщик, что, казалось, его вот-вот сдует очередным порывом ветра с машины. Да и неудивительно: с кормежкой у ремонтников было тоже худо. Чтобы совсем не потеряли силы, инженер распорядился выделить им казеин для лепешек. Мы пробовали эти лепешки - зубы склеивало от них. А работал старательно и за одну ночь сделал вместе с нашими ребятами из экипажа столько, сколько в мирное время не сделал бы и за неделю.

- Ради Бога, возьмите Дуню, пропадет она, - просяще заговорил колченогий торопливым голосом. - Очень прошу. Не откажите.

- Какую еще Дуню? - спросил Берестов.

- Сестрицу кровную. На сносях она, стал быть, брюхата. И совсем без присмотра. Мужик ейный ушел намедни в ополчение и как в воду канул: ни слуху, ни духу. Я же все время кантуюсь на аэродроме, тут и сплю в каптерке, а теперече в госпиталь срочно кладут, осколок из ноги вынуть, иначе отнять ее могут. А врачи упредила: роды ожидаются тяжелые. Может, тоже потребуется хирург. Такой факт.

Насчет хирурга клепальщик мог и схитрить. Иные тогда и не на такие уловки шли, чтобы выбраться из блокированного

Ленинграда. Что же касается беременности - этот "факт" был налицо: у обочины узкой взлетно-посадочной полосы мы увидели на сугробе женщину с выпирающим горой животом.

- Она что, не ходит, что ли?

- Ходит, ходит. Просто притомилась. Сейчас приведу, - и, не дожидаясь ответа, клепальщик заковылял к сестре.

Берестов доложил командиру о просьбе ремонтника.

Вообще-то летчики не имели права брать кого-либо без специального разрешения. Вывозка людей из осажденного города выполнялась строго по разнарядке, при наличии эвакуационных удостоверений и посадочных талонов. В первую очередь отправляли голодающих детей, тяжело-раненых и больных, специалистов, крайне нужных на Большой земле, а также дефицитные грузы и ценности. За этим строго следили, и нарушивших правило ждало суровое наказание.

Надо заметить, что центральный аэродром, тогда находившийся между Пулковской высотой и окружной железной дорогой, заняли немцы, и мы приземлялись на полевом аэродроме, построенном трудармейцами среди запущенных инеем перелесков. Таких временных прифронтовых аэродромов тогда было сооружено несколько, в числе которых имелись и ложные - для отвлечения внимания фашистов. Этот аэродром представлял собой окруженную соснами грунтовую площадку длиной меньше километра. Взлетать с нее перегруженным воздушным кораблям было рискованно, и тогда ее решили удлинить за счет примыкавшего к взлетно-посадочной полосе леса. Ни тракторов, ни бульдозеров в распоряжении строителей не было. Все делалось без какой-либо механизации.

- Можно подумать, здесь хирургов нет, - сказал механик Кануров. - И стоит ли испытывать судьбу...

- Не в том беда, - ответил Костров, горестно помотав головой. - Одна же она. И в таком положении. Раньше его называли интересным. Но интересного тут кот наплакал.

Ремонтнику хотелось облегчить положение сестры. Ведь ей ко всему прочему предстояло еще выхаживать ребенка. Для этого требовались силы. И немалые. В Ленинграде она и ее будущий ребенок были бы почти обречены на гибель.

- Ладно, - Костров призывающе махнул рукой. - Семь бед - один ответ. Сажайте быстрее. И по газам. Бог не выдаст, свинья не съест, магическая сила.

Нам показалось, что на решение командира в какой-то мере подействовало еще и то, что его Лада тоже ждала ребенка.

Механик выбросил железную стремянку и принял из рук закутанной в одеяло женщины узелок.

- У нее что, на подходе? - бесцеремонно спросил он у ремонтника.

- Не так чтобы уж очень. Но все-таки. Семь месяцев.

Кануров присвистнул, двигая кадыком:

- Веселенько кино.

- Еще терпимо, - подумал Берестов вслух с видом понимающего человека, подавая женщине руку. Клепальщик стал суетливо подсаживать ослабевшую сестру. На верхней покрытой изморозью ступеньке она поскользнулась и тяжело рухнула вниз, вскрикнув то ли от испуга, то ли от боли. Но Берестов не выпустил ее тощей, как картофельная плеть, руки с синими жилками на запястье. Механик подхватил женщину за ворот плаща, торчавшего из-под одеяла, наполовину оторвав его, и они втащили ее в самолет. Бескровные губы женщины мучительно искривились. Она дрожала как в ознобе, судорожно сжав рот и вцепившись в пилота и бортача скрюченными пальцами, а ноги не держали ее. Казалось, вот-вот упадет. В лице ни кровинки.

- Вам плохо?

- Нет, нет, что вы. Сейчас пройдет, - бедная женщина, она даже попыталась выдавить улыбку, боясь, что мы высадим ее. А в огромных глазах нашей пассажирки стоял неисчезающий страх. Тогда, кажется, я впервые ощутил, как это сердце обливается кровью. Я чувствовал, как по груди расходится нестерпимый жар.

Мы расположили бедную женщину между ящиков со снарядами, на старых ватных чехлах от моторов, возле неподвижно сидевшего за столом радиста Губанова с наушниками на голове, как всегда сосредоточенного на своем деле. То место, куда ее устроили, было самым просторным в длинном фюзеляже с его внутренней арматурой, дюралевыми тягами,

тросами, жгутами кабелей. К тому же оно хоть как-то освещалось лампочкой, имевшейся у радиста. Пассажирка находилась в его поле зрения.

Прежде чем занять место у башенной турельной установки с пулеметом, я посмотрел на женщину. Вид ее удручен: кожа да кости, а опухшие от голода ноги, как две тумбы. Даже голенища у валенок были разрезаны. И еще живот, горой вздымающийся над синим коробившимся плащом, опоясанным до самых подмышек солдатским одеялом. И я подумал в ту минуту: отпускается ли таким женщинам дополнительное питание? На вид ей было - за сорок. "Поздновато решилась обзавестись дитятей", - мелькнуло в моей голове. Половину ее изможденного, покрытого темными пятнами лица занимали провалившиеся отрешенные от всего окружающего светлокарие глаза. Казалось, она вся ушла в себя, в ожидании чего-то неведомого и страшного. Страх сковал ее движения, парализовал волю, и она полностью доверились другим. И тут мне подумалось, что она не так стара, как кажется. В Ленинграде в то время и двадцатилетние выглядели старухами.

- Располагайтесь как дома, - подбодрил Берестов женщину, проникаясь к ней состраданием и жалостью. - Вам здесь будет удобно.

Конечно, удобствами в нашем громоздком, видавшем виды и доживавшем свой век "дилижансе", как говорится, и не пахло. Было дьявольски холодно. От промасленных и драных чехлов с торчавшими клоками ваты на версту несло бензином. Здесь же, возле радиста, лежали сумки с инструментами, подогревателями, стремянка, колодки под колеса, стояло ведро, куда мы, бывало, и травили во время воздушной круговерти и отчаянных болтанок, когда наизнанку выворачивало внутренности. Тут больше всего доставалось нам - воздушным стрелкам, стоявшим за турельными пулеметами на высокой тумбе в задней части фюзеляжа, которая раскачивалась и сотрясалась, как корабельная мачта во время шторма. А двигатели ревели так немилосердно громко, что приходилось изъясняться между собой по переговорной связи наподобие той, которая имелась на старых пароходах между капитаном и машинистами, а также записками по пневмопочте и

условным свистом. Свистели в экипаже все, словно соловьи-разбойники. После полета от моторного грохота, вызывавшего пульсирующую боль в висках, голова еще долго оставалась тяжелой, как чугунная баба, и в ушах гудело. Зная, что фашисты подслушивают звукоулавливателями ночное небо и чуть что - открывают шквальный зенитный огонь, пробиться через который без риска для жизни экипажа было невозможно, Варганов с помощью рычагов газа нарушал синхронность оборотов винтов двигателей. Звуки становились непривычными, тягуче завывающими, волнобразно занудными, похожими на те, что издавали моторы немецких бомбардировщиков: вэээззу, вэээззу, вэээззу... Вражеские зенитчики частенько обманывались и не открывали по нам огня, полагая, что это возвращаются "юнкеры". Некоторые летчики, долгие годы летавшие на тяжелых бомбардировщиках, становились тугона на ухо. А по непрестанно сотрясавшемуся и дребезжавшему фюзеляжу нашей "лайбы" (так ее называл борттехник Варганов) гулял ледяной сквозняк, как в худом промороженном сарае, и члены экипажа застегивали наглухо свои одежды, надевали на лица меховые маски, а на глаза очки, и были похожи тогда на инопланетян, обследующих землю с высоты. Но и такие предосторожности не всегда помогали, и из длительных полетов мы возвращались промерзшими до мозга костей, а то и с обморожениями.

Случалось, в чехлах прятались мыши, попадавшие в самолет на стоянках, а потом ошалело метались по длинному фюзеляжу, тыкались в углы и щели. Воздушные стрелки устраивали охоту на них: долго ли до беды, если эта животинка попадет в управление или перегрызет электропроводку, что тоже бывало.

И все-таки мы успели привыкнуть к нашему потрепанному самолету и даже им гордились, хотя он был и неповоротлив, и тяжел в управлении.

Берестов толкнул радиста в бок и наказал присматривать за женщиной. Губанов по обыкновению ничего не ответил и ни один мускул не дрогнул на его бесстрастной физиономии. Я еще раз осмотрел пулемет, повращал турель, щелкнул за-

твором и проверил ленту в патронном ящике, она лежала без перекоса, как и требовалось.

- Взлетаем! - сказал командир, когда борттехник запустил двигатели и прожег свечи. Поддав газку и убедившись в устойчивой работе моторов, Костров передвинул рычаги газа вперед до упора. Тяжело нагруженный корабль грозно взревел, задрожал весь, словно хотел сняхнуть с себя неподвижность, в которой он пребывал, и приседая на неровностях взлетной полосы, устремился вперед, набирая скорость для взлета. Так лошадь, пущенная с места в карьер, мчится, не обретя еще второго дыхания и плавности бега. За хвостом самолета стлалась поднятая винтами снежная пыль. А через тридцать-сорок секунд машина уже повисла в воздухе.

- Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия! - сказал Костров.

Как только скорость достаточно увеличилась, капитан сбавил газ и мы стали ложиться на курс. Летели на небольшой высоте под прикрытием облаков, вдоль узкой разбитой дороги, петлявшей среди голых перелесков, по которой нестерпимо медленно ползли со стороны озера крытые брезентом машины с драгоценным грузом - мукою и другими продуктами для осажденного города.

А за спиной у нас все качались длинные столбы света от прожекторов, старательно обшаривавших сумрачное небо и выхватывавших из серого мрака застывшие в нем темными призраками заградительные аэростаты. Темнота скрадывала расстояния, и нам казалось, что огни совсем рядом. Появлялись, искрясь и сверкая, словно шаровые молнии, и быстро таяли на ветру шапки артиллерийских разрывов, вспыхивали трассы эрликонов. Где-то падал подбитый самолет, разбрызгивая огненные искры, точно сгусток расплавленного металла. И безостановочно полыхали пожары - блики зловещих огней от этой адской картины мерцали на лобовом козырьке из органического стекла и ребристых плоскостях. Пахло тротиловой гарью, и от этого слегка мутило.

Каким-то краем мысли я подумал о беспомощном Павле Демьяновиче и его дочери, оставшихся в Ленинграде. Что-то

они делали теперь? Он, наверное, продолжал писать свои мемуары при свете бензиновой коптилки. Что их ждало впереди? Удастся ли им выжить? Потом я узнал, что об этом же думал тогда и Берестов. И дал зарок, что не оставит их без внимания.

Квадратообразный в профиле малообтекаемый фюзеляж, открытая кабина пилотов, не убирающиеся в полете шасси с огромными колесами создавали большое лобовое сопротивление, и при всем своем желании мы не могли развить скорость более ста пятидесяти километров в час. А где-то рядом в месиве облаков, возможно, шныряли вражеские истребители, готовые в любую минуту прошить снарядами нашу неуклюжую посудину из ребристого дюраля.

Небо совсем уже померкло, когда мы преодолели первые сорок километров и вышли к расположенной на западном берегу Ладожского озера перевалочной базе Осиновец с высокой полосатой башней маяка, который был самым приметным ориентиром на берегу и привлекал внимание немецких летчиков. Они часто бомбили поселок, но свалить семидесятиметровую громаду им так и не удалось, только выбоин наделали осколками снарядов.

Под крылом проплывала настороженная, без единого огонька, земля: слегка запущенные инеем березы, приплюснутые деревянные домишкы с темными глазницами зашторенных окон, развалившаяся каменная дамба, защищавшая с севера и востока причал. Поселок, казалось, вымер, но это было не так, возле берега угадывалось движение людей. Что они делали, увидеть было нельзя. Под Осиновцом, от которого начинался самый опасный участок полета, нас встретил юркий тупоносый ястребок со знакомым нам бочкообразным фюзеляжем, приветливо качнув короткими крыльями, принял нас под свою защиту, и стремительно взмыл вверху, разрывая темно-серые гребни облаков. Так как фашисты постоянно охотились над озером за нашими тяжелыми и неповоротливыми тихоходами, рассчитывая на легкую победу, ему было поручено сопровождать нашу машину до посадки.

В ту пору со скоростными и маневренными истребителями (таковыми считались тогда МиГ-3) у нас было негусто, и они в

первую очередь использовались для контроля за воздушным пространством на подступах к Ленинграду, патрулирования над городом и отражения рвавшихся к нему начиненных фугасами "юнкерсов-88" и "хейнкелей-111", а для сопровождения чаще выделялись И-16 и И-153, скорость которых даже на полной мощности моторов не дотягивала до пятисот километров в час. Ну да что говорить о самолетах. Тогда даже парашютов для летчиков не хватало, и многие летали без них, надеясь на то, что прыгать не придется.

- Глянь-ка, Макарушка, что у него там, только трещотки? - озабоченно спросил Костров, имея ввиду вооружение И-16.

Берестов приложил к глазам окуляры бинокля, который мы брали с собой, отправляясь на боевое задание.

- Есть и дудки.

- Годится.

Тогда большая часть таких истребителей была вооружена лишь пулеметами с винтовочными патронами, что, естественно, снижало их боеспособность, а некоторая часть уже скорострельными пушками двадцатимиллиметрового калибра. Их стволы внушительно выступали из короткого центроплана и заставляли фашистов держаться подальше от этого грозного оружия.

Тут можно бы заметить, что чуть позднее, используя опыт воздушных боев на Халхин-Голе, где впервые в истории авиации были успешно применены реактивные снаряды для поражения воздушных и наземных целей противника, под плоскостями применявшимися в Отечественной войне "ишацков" и "чаек", а потом и других машин тоже начали устанавливать направляющие балки для эрэсов взрывного действия - по 6-8 штук на каждой. Это значительно повысило огневую мощь самолета.

Но вот остался позади и Осиновец, где базировались корабли Ладожской военной флотилии. Мы выключили бортовые огни и пошли с набором высоты вдоль окутанной спасительными сумерками "Дороги жизни" с намертьво затертыми тут и там во льдах кораблями и баржами, которые еще несколько дней тому назад курсировали по ней, доставляя в Ленинград продукты питания, топливо, медикаменты и прочие,

необходимые для жизнедеятельности города и его защиты, грузы и вывозя оттуда детей, женщин, стариков, больных и раненых, а также военную продукцию для фронта. Некоторые посудины были выброшены штурмовыми волнами на берег. Они ходили по озеру до последней возможности, даже тогда, когда от ударов о наследавший лед трещали обшивка и шпангоуты, ломались винты.

Навещавшие Павла Демьяновича моряки рассказывали, что за время первой открывшейся 12 сентября навигации по озеру, большая часть которого находилась под контролем противника, Ленинград получил тысячи тонн ценнейших грузов и продовольствия.

Летчики тоже внесли существенный вклад. Ежесуточный объем воздушных перевозок на самолетах Ли-2 и ТБ-3 равнялся в то время ста пятидесяти - двумстам тоннам груза, и каждый рейс был почти подвигом, потому что, как уже говорилось, истребителей для прикрытия транспортных самолетов не хватало, а заслоны вражеских перехватчиков здесь были сильны. Сам фюрер за этим следил, сказав однажды о том, что в город на Неве даже птица не пролетит. Между тем, только за ту осень летчики перебросили в Ленинград более пяти тысяч различных грузов и в первую очередь высококалорийные продукты: масло, сгущенное молоко, яичный порошок, шоколад. Вывезли из осажденного города свыше пятидесяти тысяч человек. Но это уже статистика. Надобно лишь добавить, что в Ленинграде оставались еще более двух с половиной миллионов гражданского населения, в том числе четыреста тысяч детей. Переправку их на Большую землю предполагалось продолжить уже по ледовой трассе, которую начали готовить.

Наш путь пролегал по прямой, как струна, линии в южной части озера, и сбиться с пути, а тем более потерять место нахождения было трудно, но штурман Грачев не сидел сложа руки, потому что мы летели на небольшой высоте. Это гарантировало от вражеских атак снизу. А ветер над озером был очень непостоянен и в различных местах менял направление. Он то исчезал, то снова наваливался на машину невидимой

грудью, и штурману требовалось учитывать его силу и давать поправки в курс. Однако противостоять могучим силам природы с помощью рулей оказалось нелегко. Беснующиеся потоки воздуха норовили вырвать из рук пилота штурвал. Дрожавшую и скрежещущую всеми своими сочленениями машину корежило, кидало то вверх, то вниз. А простиравшееся под нами ледяное пространство сливалось с небом в один мутный цвет, и тут уж приходилось доверяться приборам.

В воздухе Костров был молчалив и к этому приучил экипаж. Но тут он изменил себе.

- Как бы не растрясл нашу пассажирку, - проговорил озабоченно. - Приедет ни с чем, а?

- У нее еще два месяца в запасе, - ответил сидевший рядом с ним Берестов.

- Всякое бывает.

Сопровождавший нас истребитель летел где-то выше, применяя различные маневры, чтобы "уравновесить" разницу в скоростях, и мы время от времени видели его темный силуэт на фоне клубящихся облаков, между которыми нет-нет да и сверкнет в бездонной черной глуби слабой искоркой одиночная звезда.

Сумерки скоро перешли в ночь. В светлые лунные ночи, когда небо было густо пронизано золотисто-палевым сиянием, мы чаще жались к земле, прячась в неровностях рельефа местности, что до войны считалось чуть ли не крамолой и всячески пресекалось. Облака же теперь позволяли нам сокращать высоту, которая бывает так необходима, чтобы добраться до цели или своей базы с меньшим риском быть подбитым из зениток. Да и в том случае, если придется воспользоваться парашютом, она, ох, как нужна.

Нам приказали: от атак истребителей уклоняться, в бой не вступать, если на то не будет особых причин, радиопередатчик не включать, работать только на прием.

Вот уже и багряное зарево скрылось за горизонтом, и только отдельные сполохи от рвущихся бомб или артиллерийских снарядов озаряли вдали подбои облаков. Слабый свет в кабине еще больше подчеркивал необъятность надвинувшейся ночи и, казалось, что она повсюду и весь земной шар окутан

зловещей непроницаемой темнотой и неизвестностью. Мелко подрагивали фосфоресцирующие стрелки приборов, и их призрачный отблеск можно было увидеть в глазах застывшего в привычной позе командира, державшего в своих огромных руках штурвал воздушного корабля. И сам он был таким могучим, таким массивным, что казалось, меховая куртка на нем вот-вот разойдется по швам. Берестову нравилось смотреть, как он спокойно и размеренно управляет тяжелой машиной, чуть касаясь педалей ногами в огромных собачьих унтах, как бы упреждая ее попытки выйти из подчинения. И Макар хорошо чувствовал каждое мимолетное движение командира. Но еще больше ему нравилось, когда Костров, не поворачивая головы в его сторону, говорил: "Веди!". Это короткое слово все чаще звучало в ушах второго пилота и, беря управление в свои руки, Берестов старался изо всех сил оправдать доверие командира.

Прошло минут десять-пятнадцать, и радист, присматривавший за женщиной, послал по пневмопочте командиру патрон с запиской о том, что ей стало плохо. Кажется, начались роды.

- Вот тебе и семь месяцев, - покачал головой Костров. А я тут же вспомнил, как, забираясь в машину, она поскользнулась на заиндевелой ступеньке-перекладинке и рухнула вниз, как вскрикнула, перекосив в муке изможденное лицо. Наверно, от этого резкого движения все и началось. А может, почувствовала приближение родов и раньше, да терпела как могла, надеясь, что успеет выбраться из Ленинграда.

Командир что-то написал на клочке бумаги, заложил в патрончик и послал радисту. Через минуту пришел ответ, и тогда Костров велел второму пилоту сходить и посмотреть, в чем там дело.

- Если надо, помоги.
- Как помоги?! - испугался Берестов.
- Всеми имеющимися средствами.

"О каких средствах может идти речь?". Неуютно стало Макару после этих слов, жутковато, как перед первым прыжком с парашютом, но тогда он хоть знал, что делать.

- Хозяину сподручнее бы. Или Варганову. Там и тут механизм, только на другой основе, - он словно прирос к пилотскому креслу.

"Хозяином" корабля называли в экипаже механика Канурова за его какое-то собственническое отношение к матчасти. Вечно он что-то подкручивал, подвинчивал, чистил-блестили на самолете, словом, ухаживал за машиной, как рачительный хозяин за своей лошадью. И не дай Бог, если кто-то из экипажа или техников наземной службы забирался в кабину не вытерев ног или позволял себе выполнить ту или иную работу по профилактике и регламентам кое-как, таким доставалось от него "на орехи". Варганов тоже был дока в своем деле. Относился к самолету как к одушевленному существу и по звуку работающего мотора определял в нем неисправности, как дирижер определяет фальшивую ноту, взятую музыкантом в оркестре. Оба они могли сутками торчать на самолете, если их не устраивала работа какого-то агрегата или системы. Нередко и спали тут, забираясь в ватные чехлы.

Сравнение Берестова насчет "механизма" было не очень удачным, да и не к месту. Он это понимал, но ему хотелось как-то отвертеться от этого неподходящего поручения.

- Им руки нужно неделю отмывать, а святое дело требует чистоты, - сказал командир с присущей ему рассудительностью, и этим своим уточнением поверг молодого пилота в полное смятение, хотя в нем и был свой резон: технарям и умыться-то порой неделами не удавалось, а они к тому же еще смазывали руки моторным маслом или тавотом, чтобы пальцы на морозе не прилипали к металлу.

- В общем, надо, Макарушка, надо, - увесистая рука Кострова легла на плечо второго пилота. Командир, конечно, видел, что тот недоволен поручением, но не собирался отменять его. Берестов это понял, как только капитан сказал свое "надо". Костров умел приказывать, не приказывая. В его "надо" всегда было столько непоколебимой убежденности.

Когда Берестов расстегнул карабины парашюта и спустился на пол, командир показал на аптечку, а потом крикнул ему на ухо, стараясь казаться спокойным:

- Для рождения и смерти время не выбирают. Успеха тебе, Макарушка. А на земле это отметим с помпой. И на зубок сберем, магическая сила, - и он подбадривающе толкнул пилота в бок кулаком.

"Успеха мне, словно я собрался рожать", - подумал Берестов, кисло улыбнувшись командиру, потому что тот не любил, когда члены экипажа вешали голову или проявляли недовольство. Сам он никогда не терял присутствия духа и других заражал оптимизмом. Но тут оказалось такое каверзное дело, и Макар не мог не заметить затаенную тревогу в глазах Кострова, хотя тот и скрывал ее своим излишне бодряческим голосом. Правда, Берестов тоже был не робкого десятка, но в ту минуту его ноги сделались ватными и не хотели повиноваться. Он даже почувствовал легкое шевеленье кожи под волосами на голове, стянутой шлемом. А ночь уже обложила нас со всех сторон. Она была густой, как деготь, и мы летели в ее черную пасть, теперь не видя ни зги.

"Угораздило же нас в историю с географией...", - подумал Берестов, пробираясь по длинному и темному, как туннель метро, фюзеляжу, с неловкой стыдливостью прижимая к животу белый фанерный ящичек с медикаментами. Было в этом нелепом ящичке с красным крестом на крышке что-то анекдотичное, и Берестов невольно сравнил его с припаркой для мертвеца. И ему пришло на ум, что рожать в таких условиях - сущее безумие. "Если даже все как-то и обойдется - заморозим младенца как пить дать".

Сидевший за своим пультом с приборами винтомоторной группы Варганов посмотрел на второго пилота с ироничным сочувствием, а потом отвернулся и положил руки на рычаги управления двигателями - показывал занятость.

Радист все так же недвижно сидел на своем месте и молча колдовал у радиоаппаратуры, а женщина лежала на том же ватном чехле, но уже как-то наискося, запрокинув голову с огромными застывшими от страха глазами. Одна и не одна. И эта вторая жизнь уже настойчиво просилась на белый свет, чтобы пополнить число людей, живущих на нашей планете. Ее тело содрогалось тяжко и непроизвольно. Никогда Берестово не слышал, чтобы она открыла глаза, и это было

стову не доводилось видеть таких измученных глаз, казалось, они вот-вот выскочат из глубоких темных орбит.

Она что-то кричала или кого-то звала, ухватившись хрупкими закостенелыми пальцами за лонжерон фюзеляжа, но рев четырех моторов начисто заглушал ее голос. Берестов видел только черный провал открытого в крике рта с наполовину выпавшими от цинги зубами. И мелкий зуд волнами бежал по металлической обшивке, напоминая, что мы в воздухе.

Над ней склонился самый молодой член экипажа, доводившийся братом механика Сысоя Канурова, второй башенный стрелок Михей Кануров с обшитой шинельным сукном флягой в руках, совсем еще мальчишка, взъерошенный и застенчивый, только что вступивший, как сказал о нем Варганов, в пору половой зрелости. У него, по словам бортача, и уши висели лопухами. Наверное, недавно узнал, как и дети-то на свет появляются, а до этого думал, что его нашли в капусте или купили в магазине детских игрушек. Так потом подтрунивали над ним товарищи, хотя деревенские ребята многое узнают раньше городских. И не испугался вот. Широкое во лбу, угрястое лицо воздушного стрелка было до смешного деловитым и сосредоточенным. Впрочем, смешного в сложившейся ситуации было мало. На переносице выступила испарина. Он немного заикался, когда нервничал, и предпочитал в таких случаях молчать, все кивал своей массивной головой, протягивая женщине флягу с чаем. Но она, кажется, даже не видела паренька, неловко распластавшись на чехле.

Берестов понял: у женщины начались схватки, ему тотчас же пришли на память слова ее брата-клепальщика о том, что роды ожидаются тяжелыми и, возможно, потребуется помочь хирургу.

Помощь хирурга! Где ее взять на боевом самолете? И посадка напрочь исключалась. Под нами лежало пустынное, зиявшее на глубине полыньями, крупнейшее в Европе озеро шириной почти в сто сорок километров. Целый замерзший мир. Чтобы его пересечь и достичь старого рыбакского поселка Свирица, где женщина могли оказать медицинскую помощь, требовалось около часа лета. Да если бы под нами была и земля, то это не меняло бы положения. Тяжелый са-

молет не посадишь, где вздумается. А летали мы чаще над чужой или занятой врагом территории, где все против нас, против нашей жизни.

Михей поспешил подняться с колен:

- Я теперь пойду на свое место.

- Обожди, - Берестов боялся оказаться один на один с обезумевшей от боли женщиной. - Поможешь, чем можешь.

Вряд ли стрелку пришла по душе эта просьба, и он скорее всего испытывал те же чувства, что и второй пилот, получив от командира приказ действовать "всеми имеющимися средствами".

Никаких средств у Берестова не было, и его познания по части помощи при родах ограничивались рассказом Максима Горького "Рождение человека". Правда, этот рассказ основательно врезался в память, потому что был щекотливо откровенен для того возраста, в котором пребывал Макар, читая его, откровенен и экстраординарен. Там речь шла о том, как однажды где-то возле Сухуми Горький (рассказ автобиографичен), увидев в кустах рожавшую женщину, повернул ее на спину, согнул ей ноги и, засучив рукава, стал выполнять обязанности акушера, как сдерживал судороги ее грузного тела, помогал ребенку выйти на свет божий, как зубами перекусил пуповину (нож у него украли в бараке), перевязал ее тесемкой, а потом обмыл в море младенца. Все у автора получалось так ловко и легко, словно он принимал роды всю жизнь.

Вместе с тем Берестов вдруг осознал, что тех акушерских сведений, которые были в рассказе, для практических действий явно недостаточно, а ему предстояло взять на себя те же обязанности. И не на земле, и не летом среди зеленых кущ, а зимой, можно сказать, и в воздухе, к тому же в крайне зыбкой среде, внутри тесной, промерзшей и продуваемой железной коробки, где все заставлено ящиками с минометами, минами и снарядами и нет возможности развернуться. И лишь притусклом свете фонарика, который держал до смерти перепутанный Михея, стараясь не глядеть на бедную корчившуюся в муках женщину. У Берестова засосало под ложечкой от нахлынувшего на него страха.

Однако время не ждало. Макар стиснул зубы и почти нечеловеческим усилием взял себя в руки.

- Терпите, терпите, Дуня! - приказывал он женщине, стаскивая с нее все лишнее, а у самого так колотилось сердце, что его не смогли бы заглушить и сотни ревущих моторов.

- Приходилось раньше-то?! - вопрошающе кричал ей в ухо с надеждой услышать положительный ответ. Все-таки опыт...

Она вскинулась, скривив лицо, может, и не слышала вопроса. Тут он вблизи увидел ее тощее, съеденное лютым голодом тело и торчком стоявший живот. Все жизненные силы ушли на развитие новой жизни. В чем только душа у нее держалась. Тонкие, с синими варикозными венами на икрах, ноги ее теперь были широко раскинуты.

- Ничего, Дуня, справимся. Только нужно постараться. Очень нужно! - своим криком Берестов подбадривал в первую очередь себя.

Она провела дрожащей рукой по его плечу, как бы в знак признательности, благодарности за участие и, отвернув лицо, выгнулась дугой, снова завопила от приступа боли. Но то полуосознанное мановение как бы сблизило, связало Берестова и роженицу, объединило их усилия...

А самолет вдруг резко качнулся с крыла на крыло (тревожный знак!), потом его словно нахлынувшей волной бросило в сторону. Натужно взвыв моторами, он стал с разворотом круто забирать вверх - даже сдвинулось ложе роженицы, а саму ее прижало к ящикам со снарядами.

- В чем дело? - взглянем спросил меня Берестов, почувствовав неладное.

- Акулы! - крикнул я, присев на тумбе, и, сняв спусковой крючок пулемета с защелки, ухватился за рукоятки, готовый к стрельбе.

"Акулами" мы называли тяжелые двухмоторные истребители немцев "Ме-110" за их длинный тонкий фюзеляж и двухкилевой хвост. Они несколько уступали по скорости легким и маневренным Ме-109, но зато были оснащены двумя 20-ти миллиметровыми (имеется в виду калибр) скорострельными пушками "Эрликон" и пятью носовыми пулеметами. А это: по

360 снарядов и пять тысяч патронов на каждом. Эти двухместные машины предназначались немцами для сопровождения бомбардировщиков дальнего действия, но, видимо, не оправдали себя на том поприще и стали использоваться для перехвата советских самолетов. Акулы настойчиво охотились по ночам за нашими тихоходами ТБ-3, стараясь парализовать воздушные перевозки грузов по мосту Ленинград - Большая земля. Вести бой с этими желтобрюхими привидениями было трудно, и процент везения в таких неравных условиях оказывался невелик.

Акулы шли под нижней кромкой облаков. И мы были для них хорошей добычей.

Михей сунул Берестову в руки фонарик и бросился к бортовой турельной установке. Теперь мы стояли с ним рядышком на тумбе за своими пулеметами, смонтированными на верхней части фюзеляжа, и бешено врашали турелями, стремясь поймать в прицел насыщих на нас стервятников. Из стволов с треском высекали снопы огня, и белые отсветы бились и плясали на гофрированной обшивке самолета. Мне показалось, что Михей обрадовался случаю покинуть пост "ассистента" при "акушере", хотя ему теперь приходилось выполнять смертельно опасную работу. К тому же непривычную. Ведь он совсем недавно пришел в полк из школы и был еще необстрелянным, даже не видел до этого черных крюкообразных крестов на крыльях и фюзеляжах немецких машин.

Дальность поражения наших "шкасов" калибра 7,62 миллиметра - четыреста метров - была мизерной в сравнении с дальностью стрельбы пушек "мессера", которые могли поджечь нашу лайбу с километрового расстояния. Но это нас не испугало и не лишило уверенности в борьбе с врагом. Ярость к фашистам во время войны вытесняла из сердца другие чувства, в том числе страх быть убитым. Он если и приходил к кому-то, то в менее опасные минуты. Мы стреляли с каким-то ожесточением, именно стреляли, а не отстреливались, норовя сбить врага.

Конечно, Берестов и сам бы предпочел оказаться в пилотской кабине, и у него было такое пополнование - ведь фашисты навязали нам воздушный бой, но Губанов передал ему

приказ командира оставаться на месте и "продолжать порученное ему дело".

Когда на нас навалились "мессеры", Варганов ринулся вперед, чтобы занять место в одной из выдвижных пулеметных гондол под плоскостью. В другой такой же гондоле сидел летчик Альморов, перебравшийся туда из "моссельпрома", как мы называли штурманскую кабину за ее огромные по тем временам габариты. Мы били из всех огневых точек по вражеским истребителям короткими очередями, берегли патроны, зная, что их запас ограничен.

Костров решил укрыться в облаках, как это обычно и делалось, откуда "выковырять" нас было труднее, хотя такой маневр и грозил самолету обледенением. На машине стояли порядком изношенные, почти выработавшие ресурс моторы, она была перегружена (в войну все технические нормы загрузки превышались) и крайне медленно "наскребала" спасительную высоту.

Словно вросший в сиденье радист с невозмутимостью работал докладывал на авиабазу о нападении на наш самолет. Я не раз задавался вопросом: могло ли что-нибудь вывести из себя этого неуклюжего сутуловатого парня с белесыми, словно заспанными глазами. Он ни при каких обстоятельствах не терял присутствия духа и служил примером самообладания и выдержки.

В бой тут же ввязался наш единственный истребитель сопровождения. Нелегко было "ишачку", принадлежавшему к старому поколению самолетов, отбивать атаки "мессеров", но пилот оказался виртуозом своего дела. Он не только своевременно заметил их приближение, но и дал знать об этом командиру нашего корабля, и действовал энергично, лихо, смело, используя свое преимущество в маневренности, закладывая глубокие виражи и не подпускал противника близко к нам, затруднял фашистам прицельный огонь. Красно-белые и зелено-голубые "шары" из их скорострельных пушек пока пролетали мимо, хотя над Ладогой воевали опытные фашистские летчики, награжденные Железными крестами за налеты на Лондон, Глазго, Париж и другие города Европы.

Потом, уже в другой обстановке, я попробовал на все это посмотреть как бы со стороны: и на то, как наш неповоротливый mastodon почти бессильно карабкался вверх, чтобы спрятаться в облаках, и на то, как возле него, словно привидения, кругами носились "акулы" и лупили из пушек и пулеметов. Зрешище не из приятных, хотя близко к нам они все-таки боялись подойти: при таких попытках всякий раз путь им преграждал юркий "ишачок", готовый и на то, чтобы ринуться в лобовую атаку. Но фашистские асы не осмеливались на это, сворачивали. Советский истребитель брал характером. Да и Костров действовал как надо: выполнял противоистребительные маневры, пытаясь увернуться от снарядов врага, и создавал условия для ведения боя нам - стрелкам. Машину теперь так кидало, что, казалось, она не выдержит перегрузок и развалится в воздухе.

Нашему защитнику удалось поджечь одного фашиста, и хваленый ас Геринга, описав огненную дугу, пробил лед и нашел себе смерть в пучине озера. Расстреляв весь боекомплект, советский «ястребок» не вышел из боя. Может, решил последовать примеру Талалихина, совершившего в августе сорок первого беспримерный в истории воздушных боев ночной таран на И-16. Но увы, наш защитник был подбит и, теряя высоту, пошел на вынужденную посадку в сторону Вороного мыса, который ближе всего находился от трассы нашего полета. Непроглядный мрак поглотил его. Сумел ли летчик дотянуть до земной тверди? Скорее стлавшийся за ним дымный след был его последним "прости". Вот уж воистину: сам погибай, а товарища выручай.

На войне такое случалось сплошь и рядом. И надо особо подчеркнуть: истребители сопровождения несли гораздо большие потери, чем транспортные самолеты, доставлявшие в Ленинград жизненно важные грузы. Но и немцам, конечно, доставалось крепко. За первые три месяца войны летчики Северного, Ленинградского и Балтийского флотов в воздушных боях и на аэродромах уничтожили 1269 самолетов противника.

Продолжая преследовать нас, второй крестоносец в конце концов прошел наш корабль очередью из пушек и проскочил

на большой скорости вперед, пытаясь нырнуть в облака, чтобы оттуда снова атаковать, и тут попал под огонь спаренных пулеметов штурмана Грачева, свалился на крыло и стал беспорядочно падать вниз, волоча за собой шлейф краснобурого дыма. На нашем самолете разворотило "бороду" водяного радиатора, и Варганову пришлось выключить крайний левый мотор.

На самолетах той поры лопасти винтов нельзя было устанавливать по потоку воздуха и тем самым снижать лобовое сопротивление. Полет с неполной тягой и неравномерным сопротивлением на крыльях сразу же создал разворачивающий момент. Казалось, на одну из плоскостей накинули лассо и стали удерживать ее. К тому же из-за прекращения обдувки остановившимся винтом части крыла нарушилась и симметрия подъемной силы. Самолет начал разворачиваться в сторону выключенного двигателя и терять с таким трудом набранную высоту. Все это усложняло пилотирование.

Берестов не мог видеть воздушного боя. Стоя на коленях перед терзющейся женщиной, он нутром чувствовал помехи в движении самолета и каким-то краем сознания предугадывал действия командира. Чтобы сбалансировать машину в полете, Костров должен был с помощью рулей и элеронов немедленно парировать разворот и накренение машины. Должен. Но для преодоления возникших нагрузок на педалях и штурвале требовались значительные физические усилия. В таких случаях для вывода самолета в горизонтальный полет второй летчик - "правак", как тогда говорили (его пилотское кресло находилось по правую сторону от командира корабля), тоже включался в работу. Но Макара не было там, и мысли его, и заботы тогда сосредоточились на другом: как бы при резких эволюциях корабля не лопнули веревки, удерживавшие ящики со снарядами, ведь они рухнули бы на роженицу. На всякий случай он уперся в них плечом и стал ждать, когда полет выровняется.

Шум с правой стороны тоже снизился - Костров сбросил обороты работающего крайнего мотора, в следующую секунду мы услышали, как взревели выведенные на предельный

режим внутренние двигатели. Конечно, на форсаже они могли работать только считанные минуты, иначе пошли бы вразнос и вышли из строя, как загнанные лошади, но и этих минут хватило, чтобы сбалансировать полет, сделать его более устойчивым. Снижение замедлилось, а вскоре и вовсе прекратилось. Капитан перевел моторы на номинальный режим, создал некоторый крен в сторону работающих двигателей. Только с вибрацией трудно было справиться, но она не мешала продвигаться вперед.

А роды уже начались. Новое существо ежесекундно посыпало в мозг матери сигналы о готовности появиться на свет, все настойчивее требовало от нее усилий и терпения.

Какое огромное и величественное событие и для роженицы, и для ребенка, который вот-вот должен был оповестить голосом свой приход в этот лучший из миров! В таких ли условиях следовало бы находиться этой женщине в те самые ответственные и значительные для человека минуты!

Чтобы не было сквозняка, Берестов и Губанов соорудили из чехла полог, подвесили переносную лампу. Покончив с этой работой, второй пилот даже не забыл протереть руки имевшимся в аптечке спиртом, подышал на них, согревая.

В отличие от горьковской роженицы эта женщина не гнала от себя, да у нее и сил не было, а полностью доверились Берестову, и он старался показать свою готовность помочь ей, хотя и не знал как, суетился возле нее, пытаясь понять, что ей нужно. А ей нужно было только одно - освободиться от бремени. Тело ее содрогалось в конвульсиях, она напрягалась, как пружина, тужилась и все кричала, но уже тише, видно, немного смыкалась с болью, берегла силы для последнего решающего момента (ведь он приближался), а, может, просто обессилела.

К тому времени Берестов вроде бы смирился с новой для себя участью, переборол неловкость и стыд, как бы освоился и стал успокаивать женщину, хотя она вряд ли слышала его голос.

- Потерпите, Дуня, прошу! Уже скоро, совсем скоро!

Так ли это было на самом деле, он, конечно, не знал, но эти призывные слова и в него вселяли уверенность. Ведь не могло ее мученье продолжаться до бесконечности. И неслучайно же говорится: умирать, да родить нельзя погодить.

И все-таки во время схваток ей было тяжело, так тяжело, что Берестову казалось, она не перенесет мук и умрет. Наверное, тот хромой клепальщик с аэродрома не врал: требовалось какое-то вмешательство со стороны, а пилот мог только вытереть выступавший пот на ее перекошенном от боли лице. Между тем схватки теперь были почти непрерывными.

Берестов зубами развязал узелок, который женщина взяла с собой. Там оказались байковые пеленки, большой шерстяной платок домашней вязки и еще какие-то тряпки для будущего младенца.

И тут схватки прекратились. Женщина затихла, словно впала в тяжелое забытье. Берестов испугался этого больше, чем ее крика, скорее достал из аптечки пузырек с нашатырным спиртом и поднес к ее носу. Она неожиданно встрепенулась, вскинув руки, и пузырек полетел в сторону, выплеснувшись спирт залил Дуне глаза. Лицо ее исказилось до неизнаваемости, словно его свело судорогой, она прижала к глазам кулаки с такой силой, что,казалось, выдавит их из орбит. Едкий аммиачный запах распространился вокруг.

"Она же может ослепнуть!" - тревожно мелькнуло в голове пилота.

Надо было что-то делать. И немедленно. Он схватил оставленную Михеем флягу и стал лить чай ей на лицо. И тут ему вспомнилось, что когда пришла похоронка на отца, мать потеряла сознание, и ей тоже давали нюхать спирт. В общей суматохе он каким-то образом попал в глаза находившейся рядом сестренке Настене. Девочка закричала от боли, и тогда дед Евлампий, не мешкая ни секунды, прильнул к лицу внучки и стал высасывать спирт из ее глаз. И это, как потом говорили, спасло ей зрение. Берестову было известно и то, что в некоторых странах так высасывают из ранок яд после укуса змеи или скорпиона. Не раздумывая, начал делать то же самое. От чая и его усилий женщине вроде бы стало легче, и она опять благодарно-приятельно провела рукой по его

плечу, однако продолжала молчать, только вспухшие и заекшииеся губы лихорадочно дрожали.

- Ну, ну, голубушка, что же вы... Не сачкуйте, пожалуйста, прошу вас, потом будем отдыхать, - тормошил ее пилот. И его руки как бы сами, помимо воли, охватили ее огромный и тугой живот и соскользнули вниз, к ногам. Это было похоже на то, как мы выдавливаем из тубы содержимое.

- Давайте, давайте, Дуня, работайте, черт побери!

И его призыв, который вряд ли можно было услышать, его окоченевшие руки, которыми он продолжал гладить и давить ее бока, каким-то образом подействовали на женщину. Она снова напряглась, краснея перекосившимся лицом, и закричала от вернувшейся к ней боли. Берестов так обрадовался новым схваткам, что едва мог сдержать улыбку, хотя смешного в его и ее положении было мало.

А новое существо уже показалось. Пилот поддерживал его, слегка потягивая на себя мокре теплое тельце. И что поразило Макара: у младенца оказалось много волос на голове. Они были темны и густы, слегка курчавились.

"Неужели они там тоже росли?" - мелькнуло у него.

И вот новорожденный у Берестова на руках. Мальчик. Личико с кулак и сморщенное, как печеное яблоко. Чтобы не застудить малыша, пилот накинул на него пеленку, хотя тот и был еще связан с матерью толстым, перевитым, как электрический провод, жгутом, именуемым пуповиной, через которую дышал и получал питание в утробе матери. Теперь их требовалось разъединить. Берестов быстро перетянул этот жилистый жгут бинтом и перерезал его, а младенца накрыл еще и шерстяным платком, потом чехлом, оставив только щелочку для лица. И тут же пришла тревожная мысль: почему этот маленький человечек не раскрывает рта и не кричит, как положено новорожденному, о чем Макар читал в книгах, не барабхается, не сучит ручками и ножками? Почему у него синее лицо и закрыты глаза?! Берестов просовывает ладони под платок, тормошит младенца, хлопает легонько по задику - безрезульятатно. А что дальше? Не будешь же совать ему под нос нашатырный спирт. А может, он родился мертвым? Такое ведь бывает. Или умирает теперь?

Мать смотрит на пилота с испугом и мольбою в широко расширенных глазах. Тянет руки под чехол к безжизненному ребенку и тоже начинает его тормошить, массирует хиленькое тельце, изогнувшись, прикладывает ухо к его грудке.

- Не дышит?

Расшевелить легкие, дать толчок немеющему сердцу, вот что надо. Нырнув с фонариком под чехол, Берестов с отчаянной надеждой начинает делать ребенку искусственное дыхание, как учили в школе на санитарных занятиях. Поднимает его ручонки (они от кисти до плечика умещаются в его сжатых ладонях) и вдувает ему изо рта в рот воздух, а потом опускает их на вздутый животик и чуть надавливает.

Безжизненное лицико младенца напрягается, он начинает делать редкие вздохи, потом дышит чаще, краснеет и, широко открыв беззубый рот, заходится от крика.

- Кажется, все в порядке! - Берестов чувствует, что отстоял жизнь, хлопает женщину по плечу, улыбается:

- В нашем полку прибыло!

Быстроенько вытаскивает из-под ребенка намокшую пеленку, подсовывает другую, окутывает его и женщину тряпками, что были в узелке, накрывает ватным чехлом от мотора, а мысли у него теперь о том, как сберечь этих беспомощных людей и доставить в больницу?

Мать немного успокоилась и, видно, уже не ощущала боли. Черты ее худого изможденного лица смягчились, и оно стало умиットоренным, даже несколько отрешенным. Она впала в дрему и, казалось, не замечала ни шума моторов, ни дрожи металлической обшивки нашего корабля, продолжавшего свой путь над холодным безжизненным озером, ни писка младенца.

Берестов снова просунул руки под чехол и стал растирать пеленкой хилое тельце ребенка, чувствуя, как ритмично бьется его малюсенькое сердчишко.

- Скоро прилетим? - очнувшись, спросила женщина глазами и провела языком по распухшим и запекшимся губам. Они застыли в призрачной полуулыбке. Она была в ту минуту где-то далеко-далеко от суровой действительности, вместе со

своим сыном, она ласкала его в мечтах и была счастлива. Так казалось Берестову.

- Скоро кончатся ваши мучения, - кивнул он и, приподняв ее голову с выбившимися из-под платка волосами, дал попить из фляги. - Отдыхайте, набирайтесь сил. Договорились?

Плеча Берестова коснулась рука Михея, еще такая тонкая, почти детская, с обгрызенными до мяса ногтями. Он грыз их нещадно, хотя мы и отучали его от этой дурной привычки, били по кистям рук, иногда ненарочком попадало и по губам. Он не обижался.

"Ну вот, паря, и перекрестили тебя огоньком", - подумал я о своем напарнике, радуясь тому, что молодой воздушный стрелок выдержал экзамен. Не знаю, показалось ли ему небо с овчинку, когда из сумрака ночи вынырнули два мощных желтобрююхих истребителя с хищно выдвинутыми вперед моторами на обрубленных крыльях и длинными фюзеляжами с остроконечными шайбами, венчавшими стабилизаторы, и ринулись на наш самолет, изрыгая из всех своих стволов свинцовые огненные смерчи, каждый из которых мог перечеркнуть его юную жизнь? Да и всего нашего экипажа. Или страх, как к большинству из нас во время первого боевого вылета, пришел после того, как опасность вроде бы уже миновала, и мы возвращались на базу? Но так или иначе, а Михею стало знакомо и то состояние, когда кровь стынет в жилах и подступает предательская дурнота. И он понял, что с этим можно справиться. Конечно, далеко не каждый празднует труса, когда по нему стреляют, но почти у каждого это остается в памяти на всю жизнь.

Стрелок был встревожен:

- К-к-командир р-р-ранен! - прокричал он на ухо Берестову.

- Как это ранен?! - Макар вскочил на ноги. Находясь во время родов в фюзеляже, он все время чувствовал, что машина слушается Кострова, хотя управлять ею при выключенном двигателе было нелегко. Кроме умения требовались еще и немалые физические силы. Правда, силой командира бог не обидел. Если требовалось, один мог подтащить к самолету баллон со сжатым воздухом, один прокручивал винты, да и во

время устранения на самолете девиации (*), для чего его надо было разворачивать на стоянке в разных направлениях, был незаменим.

Наказав радиисту присматривать за женщиной, Берестов бросился в пилотскую кабину. Костров сидел в кресле точно примороженный, в своей обычной, может, только более напряженной позе, чуть откинувшись назад, сжимая руками по лукружья штурвала, а над ним, склонившись, торопливо кладывал на голову повязку летнаб Альмиров и при этом так морщился, точно это его ранило и он сам испытывал адскую боль. А крупное осунувшееся лицо командира было непроницаемо, как будто это вовсе и не его ранило в голову. Нельзя было не поразиться самообладанию Кострова.

Берестов немедленно занял свое место. Поставив ноги на перекошенные подрагивающие педали, он сразу почувствовал нагрузку на левую ногу. Машинистко застегнул на груди привязные ремни, взял в руки штурвал, который показался ему непривычно тяжелым и непослушным. Но теперь Макар был снова бок о бок с командиром, и это, как всегда, придало ему уверенности.

Во время полетов Костров успевал внимательно следить и за приборами, и за действиями второго пилота. Передавая ему управление кораблем, поправлял каждое его не совсем верное или просто неуверенное движение, советовал, как надо поступать в том или ином случае, учил действовать по обстановке, которая постоянно менялась и была полна сложных и неожиданных ситуаций. Но превосходства своего не подчеркивал, не иронизировал по поводу промахов молодого пилота. А если тот где-то терялся, то говорил с добром располагающей улыбкой: "Ничего, Макар Сергеич, не боги горшки обжигают!". Он все чаще называл Берестова по имени и отчеству, стремясь этим подчеркнуть кровную связь Макара с его погибшим отцом. И в таких случаях Берестов казался себе

(*) Девиация - отклонение стрелки компаса от магнитного меридиана под влиянием находящегося вблизи железа.

мужественнее, старался перенять опыт командира, даже подражал в чем-то, хотя подражать Кострову было нелегко: уж слишком он выделялся какой-то особой самобытностью при всей своей простоте и доступности. А так как война в Испании отняла у Берестова отца, то он видел в Кострове и своего доброго наставника, у него было так много общего с отцом, несмотря на разность их характеров. И мечты у них были схожими. Оба связывали их с быстрым развитием и совершенствованием авиационной техники и преобразованием мира с помощью ее. Они знали: без авиации немыслима ни одна серьезная экспедиция в высоких широтах.

- Где находимся? - спросил Берестов, прислушиваясь к рокоту моторов.

- В районе острова Сухо, - ответил Костров, не поворачивая забинтованной головы (надеть шлем оказалось невозможно).

- Трудно пришлось? - голос Кострова никогда не отличался большой силой и был явно некомандирский, а тут совсем осел и стал каким-то чужим, словно раздавался не из переговорной трубы, а откуда-то из преисподней. И это испугало Берестова.

В юго-восточной части Ладожского озера островов было мало. На Сухо стоял маяк, и оттуда плывшие по "Дороге жизни" корабли поворачивали на Новую Ладогу. В ту пору он уже не работал. И еще там обосновалась 3-я орудийная береговая батарея 100-миллиметрового калибра. Во второй половине октября на острове произошел бой между воинами советского гарнизона и вражеским десантом, пытавшимся захватить остров. Наши артиллеристы при поддержке авиации сбросили противника в озеро. Фашисты потеряли около двадцати судов и пятнадцать самолетов. Об этом нам рассказывал Павел Демьянович.

Обежав взглядом арматуру кабины и приборы и не увидев ничего такого, что могло бы затруднить дальний полет, Берестов повернулся к командиру и сразу же заметил, что его правая нога выше унта, которые поднимались в полете обычно до колен, перетянута стропой от парашюта. А на полу была

лужа крови, и от нее растекались мелко дрожавшие струйки. И тут Макар обратил внимание на пулевые пробоины возле своего кресла в гофре алюминиевой обшивки. Тугие ледяные струи воздуха, врывавшиеся в эти отверстия, пронизывали его одежду, вызывая где-то в области таза неприятную ноющую боль.

"Значит... - у второго пилота даже дыхание пресеклось, - эти пули предназначались мне. А я был там, в хвосте фюзеляжа, и они попали в командира". От этих мыслей Берестова бросило в жар.

И всякий раз потом, когда они снова приходили ему в голову, он испытывал чувство вины, ему становилось не по себе.

"Если бы я знал, что так случится, то не покинул бы своего кресла", - думал он.

И эти угрызения совести потом преследовали его всю жизнь.

- Как там дела, спрашиваю? - снова услышал Берестов напряженный голос командира. При любых обстоятельствах Костров оставался самим собой и в первую очередь думал о других.

- Родился мальчик. Вам плохо, командир?

- Прекрасно, - ответил капитан. И Макар не знал, к чему относились эти слова: то ли к тому, что родился мальчик, то ли были ответом на его не совсем уместный вопрос.

- Родился гражданин Страны Советов, - проговорил командир с пафосом и чуть улыбнулся. - И будет жить без войн, потому что с этой нечистью покончим навсегда.

Да, мы все так думали и были уверены, что участвуем в последней войне на земле, что не станет военных блоков, наше государство не будут направлены ядерные ракеты из Германии, Франции, Италии, Англии, Америки...

И никто не знал тогда, что нам еще придется воевать с Японией, а потом, спустя много лет, терять человеческие жизни в Венгрии, Чехословакии, на Кубе, в Польше, в Корее, Вьетнаме, Афганистане. Только в афганской войне будут убиты почти 15 000 советских воинов и искалечены почти 37000. Можно сказать, по прихоти кого-то, ни за что ни про что. Так по крайней мере считают многие теперь.

Самолет шел курсом на Свирицу. По техническим данным ТБ-3 с тремя работающими моторами на максимальных оборотах мог даже набирать высоту около одного-двух метров в секунду. Но, повторяю, машина была перегружена и высоты не набирала. Однако двигатели работали более или менее устойчиво, и это внушало уверенность, что благополучно доберемся до места. А вслед за уверенностью появилось желание хотя бы на мгновение перевести дух и немного расслабиться. Наверное, мы чем-то напоминали людей, которые только что стояли у последней черты и теперь как бы заново утверждались в жизни. Каждой клеткой чувствовали свою реальность.

Костров молчал, словно намертво пристык к штурвалу. Берестов не тревожил его. Ему было стыдно оттого, что не смог заслонить командира.

Прошло несколько напряженных минут, и в кабине пилотов появился башенный стрелок Михей.

- Она, кажется, снова... - сказал он.

- Что снова? - спросил командир.

- Рожает.

- Двойня! Вот это магическая сила! - большие, чуть выпяченные губы Кострова опять тронула по-детски изумленная улыбка. - Молодец, блокадница. Нам нужны кадры. Иди, Марашка, у тебя же опыт, - последнюю фразу капитан проговорил еле слышно, хотя и бодрился. Ему было тяжело, Берестов это чувствовал не только по его слабому пресекающемуся голосу, но и по тому, с каким трудом командир управлял самолетом. Его ноги и руки заметно ослабли, это сказывалось на полете: в движении корабля не было плавности и устойчивости. И вместе с тем от слов Кострова веяло прежней уверенностью. Он не хотел расписываться в своей слабости.

- Нет! - сказал Берестов со всей твердостью, на которую был способен в свои двадцать лет, видя состояние командира. Тот в любую минуту мог потерять сознание. - Это не роды, а послеродовые схватки.

- Откуда тебе известно? - спросил Костров.

- У Горького и об этом есть. Она должна освободиться от колыбели, в которой находился плод до появления на свет.

- Да ты у нас прямо профессор, - покачал головой командир.

- Профессор кислых щей, - усмехнулся Берестов. Михей по просьбе капитана стал помогать роженице. Теперь он держался куда увереннее, чем прежде, не втягивал голову в плечи, даже не заикался. Да и понятно: ведь только что "защитил аттестат" на боевую зрелость и ему негоже было теряться.

Через некоторое время радиист сообщил по пневмопочте, что все благополучно завершилось. Мать даже съела поднесенную Губановым шоколадку, а потом дала ребенку грудь и они, настрадавшись, уснули.

Последних слов радиста командир не услышал. Он потерял сознание, уронив голову на грудь.

Альморов растирал Кострову виски. Он был похож на женщину, этот летнаб-бомбардир. И внешностью, и нервным изяществом манер, и богатой интуицией. Тонкий, грациозный, с полыхающим взглядом широко распахнутых иссиня-черных глаз. Глядя на него, никто бы не подумал, что это боевой летчик. И что всех удивляло - может, и впрямь мир держится на парадоксах, как об этом не раз говорил наш замполит Сабуров, - тут летнаб был на месте. Благодаря своему просто небольшимому чутью, он всегда точно знал, в какую секунду нужно сбросить бомбы, чтобы они попали в цель.

Привести в чувство командира не удалось. Его мертвенно-бледное лицо оставалось безжизненным. Костров вдруг как-то неожиданно состарился, глаза ввалились, нос заострился.

- Надо бы сразу позвать меня, - сказал Берестов Альморову. - Чтобы не терял сил...

- Командир не велел.

Теперь вся ответственность за пилотирование подбитого корабля легла на второго пилота. И сажать машину предстояло ему. А между тем он еще этого никогда не делал, не чувствуя рядом крепкой умелой руки командира. К тому же сажать на трех двигателях, с неполной несимметричной тягой. Ни технически, ни психологически он не был готов к этому. Но зато отдавал себе отчет в том, что, если не сумеет до-

вести машину до места назначения и приземлиться, как положено, то какая-то, пусть и косвенная, ответственность ляжет на Кострова: ведь члены экипажа могут подумать, что командир не передал "праваку" нужных навыков. Берестов совсем не хотел, чтобы у товарищей сложилось такое мнение. Вот и вышло, что для него этот полет обернулся экзаменом на летную зрелость. Да и для всех остальных членов экипажа тут была строгая проверка.

Мы шли над облачной наволочью, из которой все сыпался и сыпался мокрый снег, и это не могло нас не беспокоить: переохлажденные облака нередко становились причиной обледенения винтов обтекателей силовых установок и плоскостей. Видимость ухудшилась. Однако снижаться было опасно. В любую минуту могли снова появиться "мессеры", а воздушного прикрытия у нас уже не стало. Вся надежда теперь была на спасительные в таких случаях облака, к которым мы и жались, чтобы при надобности нырнуть в них, как мышь в копну.

Непроницаемая тьма окутывала самолет. Берестов не отрывал глаз от приборов, стараясь как можно строже выдерживать все параметры полета: высоту, скорость, курс...

Между тем наше опасение подтвердилось: передний плексигласовый козырек пилотской кабины стал мутнеть и терять прозрачность, и уже скоро покрылся льдом. Напрасно Берестов нажимал плунжер антиобледенительного устройства, чтобы выпустить на лобовое стекло струйку спирта - его в бачке не оказалось. Может, еще на стоянке к нему "приложились" технари, что бывало иногда, если мороз пробирал до костей, а может, засорилась подводящая трубка. Теперь видимость была почти нулевой.

Но обледенение козырька - полбеды. Ледяной коростой начала покрываться спереди и металлическая обшивка корабля. На ней уже, как в зеркале, трепетали вишнево-красные отсветы выхлопных газов. Резко ухудшилась аэродинамика самолета и как следствие этого - его летно-технические качества. Под тяжестью ледяного панциря машина стала снижаться. Освободиться же от него в полете (как это делается на современных самолетах) было нельзя. Моторы нашего бомбардировщика не имели достаточной мощности, и вес в

двадцать тонн (считая и вес пустого самолета) для них оказалось предельным: едва тянули перегруженную машину, завывая тяжко и надсадисто, словно жаловались на свою трудную судьбу. А у нас к тому же один из двигателей не работал. Между тем ледяной груз нарастал с каждой минутой, и воздушный корабль терял послушность.

Вдруг заихал, зафыркал, сбавляя обороты, а значит и свою силу, второй мотор, и тоже с левой стороны, и мы почувствовали, как машина стала еще больше разворачиваться влево, в сторону Свирицы, к сильно выступавшему в озеро мысу, именуемому Волчим носом, за которым простиралась Свирская губа, примыкавшая к территории, занятой врагом. Ветер ударил Берестову в щеку, норовя забраться под шлем. А в мышцах уже чувствовалась опасная усталость, и она увеличивалась с каждой минутой.

В летной инструкции говорилось, что при остановке двух моторов на одной стороне полет по прямой затруднен и может поддерживаться рулем поворота и креном самолета на пять-десять градусов в сторону работающих моторов. И теперь пилот в этом убедился сам: чтобы выровнять положение, он давил на правую педаль из всех сил. Даже мышцу на ноге начало сводить судорогой. Штурвал тоже стал невероятно тяжелым, словно его заклинило. Это потому, что у самолетов той поры не было достаточного запаса отклонения руля направления. Не имелось и эффективных компенсаторов для снятия нагрузок на штурвале и педалях, управлять самолетом было трудно, а на некоторых режимах полета усилия на рули оказывались настолько большими, что машина практически переставала подчиняться. Нельзя было, как уже говорилось, поставить во флюгерное положение (по потоку встречного воздуха) и винты отказавших двигателей, что в какой-то мере снизило бы сопротивление. И хотя серво-руль уменьшил нагрузку на ногу на 30-40 процентов и тем самым увеличил надежность управления, Берестову пришлось прикладывать немоверные усилия, чтобы удержать самолет по курсу. Он знал, если обороты забарахлившего мотора станут и дальше

падать, то, может быть, и вовсе не удастся совладать с выходившей из повиновения машиной.

Где-то в подсознании на короткий миг встала картина первого полета летчика-испытателя Михаила Громова на опытном экземпляре ТБ-3 в декабре 1930 года, о чем ему рассказывал однажды Костров, как тогда из-за больших усилий на штурвале пилоту пришлось держать его обеими руками. Между тем, секторы управления правыми моторами на самолете от вибрации сползли на малый газ (они еще не имели фиксации), и тяжелая машина стала резко разворачиваться низко над ангарами. Только благодаря огромному самообладанию и выдержке экипажу удалось избежать аварии на посадке.

От того что двигатели работали теперь недостаточно синхронно, вибрация усилилась: будто мы не летели, а мчались на безрессорном тарантасе по бесконечно длинному бревенчатому настилу. Как бы тут Берестову пригодилась помочь еще одного человека. И было бы разумным, чтобы кресло Кострова занял летнаб Альмолов, умевший управлять самолетом, но Макар не хотел тревожить командира, боясь, что это повредит ему.

Радист Губанов приспал пневмопочтой записку о том, что Кануров начал выбрасывать из самолета ящики со снарядами и минами. И Берестову представилось, как борттехник спихивает их в черный провал раскрытой двери, и они один за другим летят вниз и с грохотом рассыпаются по льду. А ведь эти снаряды предназначались для того, чтобы наши артиллеристы загнали их в пушки и выстрелили ими по врагу. Это было так непохоже на Сысою, отличавшегося крайней бережливостью, если не сказать сквердностью. Не было случая, чтобы он что-то выпустил из рук. Прибрать к рукам - другое дело, на это он оказывался мастак.

Летчик попросил Альмолова выяснить, так ли это. Если сообщение радиста соответствует истине, то передать Сысою, чтобы немедленно прекратил выброску.

"Экипаж самолета считался слаженным, но стоило командиру выйти из строя, и началось чорт знает что", - подумал Макар с отчаянием. Он, конечно, понимал: члены экипажа

были молоды, неопытны, случалась и несогласованность в работе. Иногда возникали споры, как в каждом коллективе, когда у людей есть свое мнение. Последнее же слово оставалось за командиром. Капитан был арбитром и умел снимать разногласия, приводить их к общему знаменателю. Без его позволения не предпринималось самостоятельных шагов. Теперь Берестову предстояло взять бразды правления в свои руки. А борттехник вдруг начал своевольничать, пренебрегая правом абсолютного единоличия, которое предписывается военными уставами, наставлениями и авиационными традициями.

"А может это нужно рассматривать как инициативу со стороны старшего по возрасту члена экипажа? - мелькнула у него мысль. - Но допустима ли она в сложнейшей обстановке?".

Выходило, что борттехник пренебрег мнением пилота, точно тот был отставной козы барабанщиком. С другой стороны, Берестов не мог не отдать должное Канурову. Крайне осторожный, сдержаный, всегда владеющий ситуацией, что Костровым ставилось в пример всем, Сысою хорошо знал машину, ее "характер", на что была способна, и за дело болел. Всегда тщательно проверял и перепроверял работу узлов и агрегатов, регулировал рули управления, зачищал и подкрашивал места с облупившейся краской, чтобы устранить причины, вызывающие коррозию. Канурова постоянно видели на самолете, и его терпению и упорству можно было позавидовать. У него имелись все инструменты для обслуживания самолета, и даже сверх того. А попробуй кто-нибудь из другого экипажа обратиться к нему за ключом и отверткой - придумает тысячу причин, чтобы не дать. А если и даст, то с оговорками и нареканиями. А какую-то дефицитную запчасть или прокладку лучше и не проси. Только время потеряешь. Злые языки говорили, что подушкой ему служила инструментальная сумка, которую распирало от ключей. Уважая Канурова за усердие в работе, технари не питали к нему сердечной привязанности. Но сердце сердцем, а дело делом. И тут лучше не было в полку техника. Он и в полете то и дело осматривал двигатели, даже различал их по "голосам", как детей родных, сразу узнавал, если какой-то мотор не давал своих оборотов,

и борттехник устремлялся туда, чтобы выяснить, в чем загвоздка. И мы знали: между командиром и техником было абсолютное доверие. И все члены экипажа спокойно вверяли свои жизни безотказному ТБ-3.

"Или у Сысою имелись веские основания для его действий? Тогда почему не доложил и не спросил разрешения?". Но размышлять об этом было некогда. Минута промедления могла стоить нам жизни.

Снова прилетела записка от радиста, и в ней говорилось, что Кануров не послушался Альморова и продолжает выбрасывать снаряды за борт.

Берестов не знал, как реагировать на поведение борттехника, хотя и разделял его намерение благополучно долететь до Свирицы. Только какая бы польза морским пехотинцам, если бы мы прибыли туда без оружия и боеприпасов.

А Костров все не приходил в себя. Берестова обдало холодом предчувствия. Спросил у штурмана, сколько километров осталось до берега.

- Тридцать, - сообщил Грачев, шаря лучом фонарика по карте с проложенным на ней маршрутом, где указывалось и время прохода контрольных рубежей.

Тем временем обороты "скиснувшего" мотора упали до минимума. Он еще чихнул несколько раз и смолк, точно парализованный. Самолет стал круче разворачиваться влево, а стрелки высотомера продолжали "сматывать" высоту. Ледяной ветер так и хлестал по головам пилотов. Требовалось уменьшить обороты крайнего двигателя на правой плоскости и добавить газу левому мотору и таким образом в какой-то мере уравнять усилия тяущих моторов. Но левый двигатель "испекся".

"Только бы не потерять власть над машиной", - думал Берестов. Конечно, дотащиться до аэродрома он уже не надеялся. Но надо было хотя бы приблизительно выдержать нужное направление и не уйти слишком далеко от прибрежной зоны к центральной части озера, которое, кстати сказать, в иные годы не замерзало даже зимой.

И тут в пилотской кабине появился Кануров.

- Кто давал указание? - вскричал пилот, не в силах скрыть раздражения.

Механик кивнул в сторону командира, все так же недвижно сидевшего в кресле с откинутой головой.

- Когда?

- При отказе крайнего левого, он сказал: начнется интенсивное снижение, выбрось часть груза по своему усмотрению, что я и сделал. Иначе нам пришлось бы кормить рыб. Думается, командир опасался, что в запарке выпустит из виду...

- Ладно, - сказал Берестов. - Прошу подготовиться к посадке. Передай всем. Смотрите, чтобы ящики не грохнулись на женщину.

"Костров предусмотрел все до мелочей", - подумал летчик с благодарностью к командиру и с досадой на себя. Берестов и в голову не пришло, что надо освободиться от лишнего груза. Правда, сначала пилот был занят роженицей, а потом управлением поврежденного самолета и раненым командиром, но все равно после разговора с Сысоем почувствовал себя виноватым перед членами экипажа за мимолетную растерянность, которая могла бы привести к плачевным результатам. Хорошо бы ему продумать свои дальнейшие шаги, но оставалось на это времени. Если Костров во многих ситуациях действовал автоматически благодаря опыту, который был заложен в клетках его мозга в виде определенной программы, а также интуиции, выработанной годами летной работы, то Берестову еще требовалось перебирать в уме параграфы наставления по летной службе, которыми до этого не приходилось пользоваться. Он боялся что-то упустить, и это мешало ему сосредоточиться.

Как только снизились, обледенение прекратилось. Козырек перед пилотом снова стал прозрачным, улучшились аэродинамические качества самолета. Хоть и с грехом пополам, чуть ли не на бреющем полете, а мы все-таки приближались к цели. И на этом отрезке пути союзником нам был попутный залив. И на этом отрезке пути союзником нам был попутный залив. И на этом отрезке пути союзником нам был попутный залив. И на этом отрезке пути союзником нам был попутный залив. И на этом отрезке пути союзником нам был попутный залив.

Берестов попросил штурмана осветить простиравшееся под нами пространство ракетой. Увы, ее света оказалось недостаточно, чтобы проткнуть снежную завесу и увидеть поверхность озера.

А тело Макара уже разламывалось от физических усилий, которые ему теперь приходилось прикладывать, управляя плохо повиновавшейся машиной. Руки занемели, ныл позвоночник, по лицу струился пот, который тут же слизывало холодным ветром, и от этого ломило челюсти. Нервы тоже были на пределе. Если в нем еще и оставалось что-то, так это огромная ответственность за жизнь экипажа, которому доверено важное боевое задание. На этом и держался.

- Следи за землей, - сказал Берестов штурману. Такой слепой ночи нам, кажется, еще не доводилось видеть в полете.

- Мы в пятистах метрах от берега, - передал Грачев, когда стрелка высотомера перескочила через черту с цифрой "100" и продолжала спускаться вниз. Этого запаса явно не хватало, чтобы дотянуть нашу громадину до берега, на котором стоял в нескольких километрах от озера, теперь уже правее нашего фактического маршрута, поселок Свирица - последний бастion советских войск на восточном побережье, где по реке Свири пролегала граница боевых действий. На обоих берегах устья Свири находились наши войска. Положение там было напряженное. У 3-ей отдельной бригады морской пехоты, державшей на левом фланге армии оборону, не хватало артиллерии и снарядов. Морским пехотинцам помогали корабли ладожской военной флотилии, но теперь значительную часть озера сковало льдом, и рассчитывать на помощь можно было только с воздуха. Вражеские батареи обстреливали поселок с мысов Гумбарица и Зубец.

Стрелка высотомера приближалась к нулю. Дефицит времени летчик больше всего ощущает на посадке. Считанные секунды отпускаются ему для завершения полета, когда земное притяжение берет верх над уменьшающей силой двигателей и надо быть предельно внимательным и четко выполнять все операции. На их исправление времени нет, а малейшая ошибка может оказаться чреватой самыми неожиданными

последствиями. Вот когда так нужны были опыт и самообла-
дание Кострова, его моментальность реакций, предвидение и
чутье.

Берестов знал, что при заходе на посадку с несимметрич-
ной тягой двигателей летчику бывает трудно попасть на по-
садочную полосу без заброса самолета. Но тогда его это не
особенно заботило: ведь полосы-то как таковой под нами не
было. Он думал, как избежать "проваливания" самолета и
удара о землю, то бишь об лед с непогашенной вертикальной
скоростью, и тут попутный ветер стал нашим противником, не
поддерживал машину на завершающем, самом ответствен-
ном участке полета - во время приземления. Лед мог и не вы-
держать тяжести самолета. Руки летчика словно пристыли к
штурвалу. Мы стремительно неслись над заснеженным про-
штурвалу. Самолет приближался к нему, расталкивая
стороном озера. Самолет, казалось, вот-вот зароется в белесых вихрях.
темноту, и, казалось, вот-вот зароется в белесых вихрях.

На всякий случай Берестов приказал Грачеву подняться из
штурманской кабины наверх, где было безопаснее.

От чрезмерного напряжения у Макара рябило в глазах, и
он так взмок, будто только что побывал в парной. Попросил
штурмана выпустить еще ракету и включил посадочные фа-
ры. Сквозь сыпавшуюся с неба снежную замять смутно про-
глядывалась внизу довольно ровная поверхность. Она летела
навстречу со скоростью курьерского поезда. А что под снегом,
навстречу со скоростью курьерского поезда. А что под снегом,
навстречу со скоростью курьерского поезда. А что под снегом,
навстречу со скоростью курьерского поезда. Но выбо-
мы не знали. Не исключались и торосы, и полыньи. Но выбо-
ра не было.

Прежде чем коснуться колесами поверхности, а вернее,
плюхнуться в снег, летчик выключил двигатели, чтобы не воз-
никло пожара.

Благодарение судьбе! Каким-то чудом Берестов посадил
машину в районе Свирской губы в нескольких ста метрах от
берега, низкого и пологого в этой части озера, во многих мес-
тах заболоченного. Но болото в ту пору уже сковало льдом.
Так как посадочная площадка могла оказаться неприспособ-
ленной для пробега, пилот затормозил и этим сократил его
длину, но в конце самолет все-таки правым колесом угодил в
какую-то впадину, круто развернулся, царапнув консолью по

топорщившемуся под снегом льду, и замер. Мы даже не по-
верили себе, что были на родной тверди, и могли ее пощу-
пать руками. На минуту нам показалось, что сбросили с плеч
многотонный груз и стали совсем легкими. Напряженное ог-
лушительное безмолвие царило вокруг, а потрескивавшие
горячие моторы еще больше подчеркивали тишину.

Стоило Берестову чуть шевельнуться, и тупая ноющая
боль прошла по всему телу. Он устало стащил шлем и вытер
испарину на лбу, глубоко вздохнул и повернулся к командиру,
испытывая удовлетворение от посадки: ведь он выдержал
строгую проверку на умение действовать в сложной ситуации,
и ему хотелось, чтобы командир оценил это.

То ли обступившая нас тишина, то ли резкое движение при
толчке и развороте машины привели Кострова в чувство.

- Как пассажиры? - было его первым вопросом. Он тяжело
и прерывисто дышал.

- Кажется, у них все нормально, - пилот надел шлем, раду-
ясь голосу командира. - Как вы-то?

Этого вопроса Берестов мог и не задавать, видел: дела у
командира плохи. Потерял много крови и жил за счет внут-
ренних запасов энергии.

- Потерпите немного, - Берестов посмотрел на часы, - со-
всем скоро доставим в лазарет.

- Излишне, - ответил Костров как-то уж очень спокойно и
буднично, что больше всего потрясло в ту минуту Берестова.

- Я хочу умереть в кресле своего самолета.

- Почему умереть, командир?! - чуть ли не закричал Бере-
стов. - Вы будете жить. Непременно. Мы еще с вами...

- Спасибо, Макарушка, - проговорил он тихо и безысходно,
медленно шевеля напряженными губами. - Может, и буду в
чьих-то сердцах. Передай нашему бате... - и тут сознание
снова покинуло его.

- Что, что передать?! - Берестов схватил командира за ру-
ку, стащил с нее крагу. Она была тяжелой, холодной, безжиз-
ненной, пульс не прощупывался. А ведь его руки всегда были
как печки, и если застывал на морозе какой-то вентиль или
трубопровод, он отогревал его, зажав в кулаке.

Зыбкая грань между жизнью и смертью стиралась. И это было так неожиданно и страшно.

- Вы слышите меня, командир? Говорите, говорите, Игнат Степанович! - Макар тряс его за плечо, словно хотел разбудить. Второго пилота обдало холодом предчувствия близкого конца, и от леденящего страха под шлемофоном словно зашевелились волосы. - Ну что же вы?

- Слышу, - вдруг сказал Костров, не открывая глаз. И тут его лицо посуворело, стало жестким, словно его вырезали из дерева. - Передай, что мы... все, что было можно... Пусть продолжат. И вы тоже... До победы. Я верю...

Берестову показалось, что командир попытался сжать его пальцы, но сил для этого у Кострова уже не было.

- Зачем вы так... Вы сами еще... - но Берестов говорил это как бы по инерции, не веря своим словам и стыдясь этому неверию. - Мы еще с вами...

- Я верю, что... - сознание Кострова становилось путанным и неясным, губы чуть подергивались, он никак не мог продолжить начатой фразы. И вот уронил голову на плечо. Берестов осторожно поднял ее и, поддерживая, снял с его глаз летные очки.

- Не надо, Игнат Степанович, не надо, - умоляюще твердил он, глядя в застывающее лицо. По цвету оно не отличалось от бинтов на голове. А губы теперь отдавали синевой.

Вдруг Костров снова тяжело и судорожно вздохнул, словно и впрямь пробудился от глубокого наркотического сна, и широко открыл глаза. Так широко, точно хотел вобрать в них весь мир.

- Вот и все, - еле слышно проговорил он, и по его задеревневшим щекам покатились скупые слезинки и тут же застыли на ветру. В глазах было тревожное оцепенение...

Человек нелегкой судьбы и большого сердца, настоящий друг Макара, наставник молодежи, Костров был оптимистом, не поддавался усталости. И других учили верить в свои силы и говорил, что они у человека беспредельны. Он никому не позволял расслабляться и заражал своей уверенностью. Всякая победа начинается с веры, говорил он. Его любимым досугом

было чтение книг, в которых рассказывалось о будущем. А будущее ему виделось прекрасным и удивительным.

И еще он любил мечтать. И эти мечты так или иначе были связаны с авиацией. Ей он придавал большое значение в преобразовании мира и при этом часто ссылался на книгу Н.А. Яцку "Авиация и ее культурное значение", с которой не расставался. Она и тогда торчала из кармана его летной куртки. Капитан не раз зачитывал нам из нее отдельные места. Захватывающие перспективы открывались в этой удивительной книге, подаренной ему с автографом самим Яцуком, чем Костров очень гордился. От Игната Степановича мы узнали, что будучи летчиком-инструктором, Николай Александрович Яцук первым поднял в воздух на учебном самолете легендарного Петра Нестерова, первым предсказал в своих трудах воздушный таран, который потом совершил его талантливый ученик. В 1918 году Яцук был членом Всероссийской коллегии по воздухоплаванию, возглавляя профессиональный союз летчиков. Он знал многих пилотов старшего поколения из Западно-Сибирского управления ГВФ. Кострову доводилось с ним встречаться в инженерной академии имени Жуковского, где Яцук с тридцать третьего преподавал стратегию воздушного флота. В книге Яцку наш командир видел программу развития гражданского флота СССР, называл ее катехизисом аэрофлотовцев.

- Включайся... - сказал вдруг Костров хриплым придушенным голосом, напрягая последние силы. - Фиксируй...

- Куда включаться? - не понял Берестов, с каким-то внутренним ознобом воспринимая слова капитана. - Что фиксировать? - Второй пилот чувствовал, что шли последние бесповоротные минуты.

- Нашу историю.

Не было такой недели, чтобы Игнат Степанович не записал в историю полка какой-либо эпизод из боевых действий. Каждое значительное событие находило отражение в этой книге, которая хранилась у замполита полка Сабурова. Кстати, они дружили. Оба говорили, что наши дети, внуки и правнуки должны знать прошлое своего Отечества. Только тогда смогут понять и по достоинству оценить настоящее и двигаться

вперед. Конечно, истины известные. Но ведь и ничто не ново под луной в смысле морали, однако же мы обязаны говорить об этом, если не хотим вернуться в каменный век.

- И про берлинскую лазурь напиши, когда дойдете до Берлина... - прошептал Костров.

- Нет, нет! Вы сами... - Берестов хотел сказать командиру какие-то очень значительные слова, но ничего не приходило в голову. Костров опять закрыл глаза, теряя сознание, но тут же встрепенулся, дыхание его стало судорожным, прерывистым.

- Тюмень... Кончится война и туда...

- Мы вместе отправимся, командир.

- Нет, Макарушка... - И вдруг спросил:

- Ну где же она?

- Кто?

- Моя Ладушка, - он произнес имя своей жены с той пронзительной и беспомощной нежностью, которая бывает у людей только при неизбежном расставании навсегда.

В груди Берестова защемило, и на глаза тоже навернулись слезы. Как же горько было ему в те минуты.

- Она ждет вас в полку, - сказал он, стараясь не выказать голосом испытываемых мучений.

- Ждет, - горестно скривил он побелевшие губы. - Расскажи ей, как у нас вышло. И ему потом расскажешь...

- Кому?

- Нашему... Нашему... А борьбы без потерь не бывает.

"Борьбы без потерь не бывает". Первый раз Берестов услышал эти слова от отца, когда тот отправлялся в Испанию бить фалангистов. И теперь Игнат Степанович их повторил.

Понял Берестов и то, кому он должен был рассказать о том, что произошло под Ладогой, - ведь Лада ждала ребенка.

- Не оставляйте ее, - проговорил Костров еле слышно и опять затих.

- Не оставим, - Берестов почувствовал, что вот и наступил миг неумолимого и безжалостного расставания.

Командир, как бы мобилизовав всего себя, подался вперед к штурвальной установке. Макар понял его намерение, наклонил колонку, и Костров ухватился за штурвал, другую руку положил на рычаги газа всех четырех моторов. И так застыл,

ловя гаснущим, наполненным болью взглядом фосфоресцирующие стрелки приборов. Берестов не отрывал глаз от командира, пытаясь прочитать на его восковом лице хоть какую-то мысль. Но оно было непроницаемо. И только воображение подсказывало Макару, что, находясь на грани небытия, Костров думал о полете, вернее, представлял себя в полете.

Прошло минуты две или три, прежде чем пальцы командира разжались, и он, исчерпав заложенные в нем запасы энергии, откинулся на спинку кресла, а голова безжизненно упала вперед.

Некоторое время Берестов сидел в оцепенении, как после дурного сна, ничего не чувствуя, не соображая. В нем словно закоченело все. Разум не хотел принимать такую дикую несправедливость.

"Для рождения и смерти время не выбирают", - час тому назад сказал живой и невредимый, полный оптимизма Костров. Думал ли он, что выносит и себе приговор. Хоть такое и нередко бывало в нашем полку, как, впрочем, и во всех других боевых полках - на войне как на войне - и перед неумолимым лицом смерти все бессильны, но к смерти все равно нельзя привыкнуть, ни к чужой, ни к своей. Свою смерть вообще вообразить невозможно, хотя и знаешь, что без смертельного риска не бывает ни одного боевого вылета. Да и не только боевого. Но и смертельный риск, это еще не смерть. Мозг человека настроен природой на жизнь даже у безнадежно больных, и нам всегда кажется, что если что-то и случится ужасное, то не с нами. И не с нашими близкими. Пока живем - надеемся. И надежда умирает последней. Но настрой настроем, надежды надеждами, а в реальности случается иначе, хуже, беспощаднее...

Берестов снял шлем, по-прежнему не в силах оторвать взгляда от командира. Костров дрался до последнего дыхания и умер, как герой. Вместе с ним ушел из жизни целый мир, его мир: его дела, заботы, радости, печали, любовь, ненависть, муки, драмы, мечты, надежды. Осталось лишь то, что успел совершить во имя жизни на земле, во имя процветания родины, во имя ее спасения, во имя победы над фашистской Германией.

Время Кострова остановилось, а наше продолжало неумолимый бег, и мы, стоявшие за спиной навечно уснувшего командира, увидели, как тихо опускавшийся с небес снег, словно невесомый саван, тонким слоем лег на широкие покатые плечи Кострова и на его холодное чено, все больше напоминавшее теперь гипсовую маску.

Невозможно передать то отчаяние, которое овладело нами. Братья Кануровы тихо всхлипывали. Потеряв в детстве отца, они потом больше всего привязались к Игнату Степановичу, и даже иногда, оговариваясь, называли его заглазно тятей. Рыдания душили летнаба Альморова. Грачев был сурово безмолвен. А Макара как в воду опустили.

Не прошло и пяти минут после посадки, как послышались тугие хлопки разрывавшихся неподалеку мин. Мы повернули головы в ту сторону, откуда доносились эти нежданные звуки, прислушиваясь к тому, как гулко трещал лед после каждого взрыва: трам, трам, трам! Казалось, он вот-вот разойдется под самолетом, и холодная темная пучина поглотит его вместе с нами.

- Командир! Нас обстреливают с берега! - крикнул Грачев.

Еще никогда двадцатилетнего Берестова не называли командиром, но он сразу почувствовал ответственность за экипаж корабля, за женщину с ребенком, за самолет с важным грузом. А вместе с ответственностью к нему пришло и сознание собственной силы. Он будто бы ощущил, как эта сила влилась в него, покинув бездыханное тело командира.

Хорошо сказано было в одной книге о летчиках: "Кресло второго пилота как бы трамплин к месту командира корабля. Расстояние до него - руку протянуть, а иди к нему иногда приходится годы". Война эти годы нередко скимала в короткие месяцы, а то и недели. Так случилось в ту злую годину и с Берестовым.

Судя по взрывам, которые раздавались левее самолета, можно было предположить, что фашисты хоть и заметили нас, когда пришлось при посадке на какой-то миг включить фары, но не знали места расположения и стреляли наугад, по

широкой площади, в надежде "зацепить" машину каким-то снарядом. А увидеть мешал снегопад.

- Что будем делать? - спросил Альморов. - Сысою отправился сливать масло из радиатора и систем.

Борттехник, не мешкая, решил освободиться от масла, пока оно не загустело на холода и не порвало соты радиатора. За систему охлаждения не беспокоился - там был антифриз.

- Женщину с ребенком немедленно отправим к нашим. Только хватит ли у нее силенок, - рассуждал Берестов вслух, отстегивая привязные ремни и парашют, снимая с педалей онемевшие ноги. Его, да и всех нас мутило от горя и слегка покачивало от долгого нахождения без движения в напряженном состоянии. Звенело в ушах.

Мы направились к роженице и были поражены ее преображением. Трудно сказать, что повлияло на то, что эта хрупкая измученная женщина вдруг ощутила в себе прилив энергии и воспрянула духом. Может, причиной тому были необычные или, как теперь говорят, экстремальные условия, угрожающие жизни ребенка. Ведь ради своего дитяти мать готова на все. Она уже поднялась и, сев на ящик со снарядами, все совала младенцу грудь, согревая его своим дыханием. Несмотря на сумрак в самолете, мне вдруг показалось, что ее лицо излучало какой-то внутренний свет.

"Найдется ли когда-нибудь художник, чтобы увековечить мадонну военных голодных лет с младенцем, - мелькнуло в моей голове. - Получилась бы потрясающая картина. Мимо никто бы не прошел равнодушным".

Мы спросили женщину, сможет ли двигаться самостоятельно, та словно и не слышала вопроса, поглощенная заботами о ребенке, который все куксился и вот-вот собирался зареветь. У матери не было молока, и его это беспокоило. Нас же невольно растрогало это необычное видение.

Но вот она подняла голову, и очарование волшебной минуты всепоглощающего общения матери и ребенка рассеялось перед суровой явью, тяжело и конвульсивно вздохнула, а потом спросила, как звали командира корабля. По интонации ее дрожавшего от слез голоса мы поняли, что ей уже известно о его смерти. Когда Берестов назвал имя Кострова, она удовле-

творенно кивнула и еще ниже склонилась над ребенком, скорбно закрыв лицо. Ее худое изможденное тело начало подрагивать от безмолвных рыданий.

Макар коснулся ее руки. Дуня поднялась на ноги. Держалась нетвердо и выглядела так, что краше в гроб кладут.

- Да, да, я готова, - она задушенно всхлипнула, зажав рукой искусанные до синяков губы.

- Вам помогут, - Берестов посмотрел на летнаба и штурмана. Без них можно было обойтись у самолета. И на них можно было положиться. Впрочем, положиться в этом экипаже можно было на любого.

- Я лучше бы остался, - возразил Грачев.

Берестов не стал возражать и вместо него послал Варганова. Парень отличался пробивной способностью и мог постоять головою за товарищей.

- Как доберетесь до места, сразу же пусть высыпают подводы, - сказал Макар. - А мы тем временем разгрузимся и подготовим все для транспортировки. Надо торопиться.

Напомнили уходящим, чтобы были осторожны в пути. Нейтральная территория могла быть заминирована.

- Все будет тютелька в тютельку и чин чинарем, - ответил Варганов.

- Будем надеяться.

Что-то и в самом деле изменилось в Берестове после этого полета над озером и смерти командира. Будто Костров и впрямь передал ему свои обязанности и свою ответственность за боеготовность молодого экипажа. Никогда раньше Макар не казался нам таким собранным и самостоятельным, готовым к любым испытаниям.

Немцы то и дело пускали с берега осветительные ракеты на парашютах, пытаясь обнаружить нас, но сыпавший снег оставался нашим союзником. Он покрыл белым одеялом машину, заслонил ее непроницаемой завесой. Ракеты не помогали. Фашисты расширили площадь обстрела, не теряя надежды поразить нас огнем своего оружия. Теперь отдельные мины рвались совсем близко, все так же глухо лопался лед на озере, и осколки со свистом пролетали над головой.

Пока Берестов, штурман Грачев и я выносili из самолета окоченевшее тело командира, укладывали на приготовленные товарищами ящики, чтобы сразу, как только появится возможность, увезти его на берег и там с подобающими почестями предать земле, летнаб и Варганов соорудили из брезентового чехла что-то наподобие саней-волокуш для женщины - на тот случай, если ей станет идти немоготу.

- Тут не так далеко. Скоро будете в безопасности, - подбадривали мы Дуню и невольно представляли, сколько еще горя ей придется хлебнуть. А может, и сыну тоже. Как-то сложится у них жизнь, думали мы. Узнать бы когда-нибудь.

Прежде чем отправиться в путь, Дуня подошла к лежавшему на ящиках телу командира, отогнула край чехла, которым оно было накрыто, и, опустившись на колени, припала головой к его груди, а потом поцеловала покойника в лоб.

- Прости меня, - тихо сказала она. - А память о тебе я и сын мой Игнат сохраним навсегда. - Лицо ее задрожало, скривилось, послышались всхлипы-рыдания. И у каждого из нас тоже подступил комок к горлу. Я крепко зажмурился, чтобы удержаться от слез. И все мы были благодарны женщине за то, что она дала сыну имя нашего командира, как бы перепоручив ему все то, что не смог, не успел сделать Костров.

Потом Дуня приблизилась к Берестову и спросила, как его зовут.

- Если бы не ты, не увидели бы мои глазоньки сыночка живым. Да и мне бы не жить, - сказала она с нежностью, и я снова увидел, как лицо ее озарилось на миг темнособрым светом, который излучают все матери с младенцами на руках. - Ты наш спаситель и дозволь дать ему твое отчество.

Мы не ожидали от нее такого.

- А отец его? - вырвалось у Берестова. - Ведь он же...

- Не нужен нам такой отец, - сказала она с твердой решимостью, и лицо ее помрачнело, брови сомкнулись, в углах сжавшихся губ образовались горькие складки. - И фамилию сыну припишу свою.

- Почему так?

- Его булкой немцы из своего окопа переманили, - ответила она, помолчав. И мы поняли, что это признание стоило ей много. - Ужом болотным уполз к ним ночью.

Нам не хотелось в это верить.

- Откуда известно?

- Соседи сказывали, с которыми ушел на оборонные работы. И это правда. Он вечно был недоволен тем, что имел. Тот же метил в летчики, да не вышло. Здоровье подвело. А смерти-то страх как боялся. У него и присказка была в оправданье: помирать - не в помишуки играть. Ну да не хочу о нем говорить. А отчество, как и Отечество, человеку нужно. Вот и жалала бы твоё... - дрожащим шепотом докончила она, глотая слезы.

- Не возражаю, коли так, спасибо за оказанную честь, - согласился Берестов, думая об изменнике.

Я никогда не видел в лицо своих врагов, кроме того немца-альбиноса, которого вели по улице ленинградцы, когда приехал в город с аэродрома вместе с Берестовым, чтобы попытаться найти дедушку и бабушку Макара. И не испытывал большого желания видеть. Достаточно было того, что мы их бомбили за те злодеяния, которые они причиняли нашему народу. А вот на Дуниного мужа почему-то хотелось глянуть. Нет, не в ту минуту, а когда-нибудь потом. И посмотреть в его глаза. Сможет ли время смыть клеймо, которое он поставил себе. Сможет ли человек простить другому человеку измену? Вот о чём подумалось тогда.

- А тебе, Макар, огромное спасибо. Летай хорошо. И пускай всем твоим делам на войне и после сопутствует удача. Может, бог даст, еще и свидимся. Всегда будешь желанным гостем. И товарищи твои тоже, - и она вдруг прильнула к рукам Берестова и поцеловала их.

- Да вы что! Зачем? - залепетал он от волнения, обнимая женщину.

Хотелось спросить у Дуни, сколько лет ей, но мы постеснялись.

- А был он Смешков, если говорить о фамилии моего бывшего мужа. Может, вас сведет случай повстречаться. Об

личьем на цыгана похож, а глаза темные, шнырливые. Плюньте в них. А о том, что родился сын, ему знать не надо.

Такая веселая фамилия и досталась негодяю, подумал я в эту минуту. Да, любопытно было бы посмотреть на него.

И надо же было такому случиться, будто провидение какое столкнуло Берестова с этим перебежчиком уже на немецкой земле.

Когда наши люди из экипажа и женщина с ребенком (его нес на руках Варганов) растворились в ночи, оставшиеся члены экипажа принялись за выгрузку самолета. Мы торопились. Тяжелые ящики надо было растаскать в стороны, ведь вражеская мина могла угодить в какой-то из них, и тогда подорвались бы другие. Еще тот бы вышел фейерверк! Стало жарко, и нам пришлось снять меховые и ватные куртки.

Работая, мы все время посматривали туда, откуда стреляли немцы, чтобы в случае необходимости не мешкая занять места у пулеметов.

И вдруг раздались залпы справа, где находилась линия нашей обороны, и послышались взрывы в стане неприятеля. И он вынужден был перенести свой огонь в том же направлении.

- Похоже, наши добрались до места, - предположил Кануров.

- Выходит, - согласился Грачев. - И теперь морячки лупят туда, чтоб обеспечить нам выгрузку.

Отвлекающий обстрел. Этот тактический боевой прием был таким же старым, как сама война. И всегда оказывался кстати, и всегда выручал.

- Значит, через час-полтора можно ждать подмогу, - сказал Берестов, пытаясь подбодрить порядком уставших товарищей. Мы то и дело опускались на колени и хватали губами снег, чтобы утолить жажду. А ящики, будь они неладны, с каждой минутой казались нам тяжелее.

Не прошло и получаса, как со стороны берега донеслось приглушенное покашливание и что-то звякнуло раз, другой. А потом все затихло. И обстрел прекратился. Нас это насторо-

жил. Стали прислушиваться, но никаких звуков не было. И тут вдруг Михей радостно закричал, сложив рупором ладони:

- Э-ге-гей! Сюда! Мы тут!

Сысои тотчас же зажал брату варежкой рот, точно по лицу ударил.

- Ты что, обалдел! - зашипел он на едва удержавшегося на ногах стрелка. - Или сроду такой дурошлеп.

- Как бы не заблудились. Угодят в польню или воронку от мины, - уже тихо сказал Михей.

- Помолчи, баранья башка, - обрезал его механик, напрягшись весь. Мы тоже замерли и повернули головы в ту сторону, откуда пришел звук. Ответа на зов стрелка не последовало. А между тем его нельзя было не услышать. Догадаться о причине этой тишины не составляло труда. По спине у меня побежали мурашки.

- Думаешь, фрицы? - спросил я Сысоя.

- Не нравится мне это безмолвие, - ответил тот, берясь за карабин. - Надо поостеречься.

И других обеспокоила эта тишина. Не раз случалось, когда фашисты пытались захватить садившийся на вынужденную экипаж. Было такое и в нашем полку. И кончилось все трагически. Летчики и техники отстреливались до последнего патрона, потом подорвали себя вместе с самолетом.

Чтобы не навлечь на себя беду, мы решили приостановить выгрузку. Я и Михей заняли места у своих турелей, Грачев сел за спаренные пулеметы в носу корабля, а Берестов, Сысои и Губанов выдвинулись в стороны и укрылись с оружием за торосами, чтобы фашисты не могли обойти нас с флангов.

Мы не исключали и того, что противник вообще не заметит нас. В этом случае решили первыми не ввязываться в бой. Ведь нам не было известно, какими силами могли располагать немцы. Наши же возможности, как говорится, оставляли желать лучшего, потому что больше половины самолетного боекомплекта мы израсходовали при отражении "мессеров".

- Ну а если встреча окажется неминуемой, быть короткими очередями, и только с близкого расстояния, наверняка, - приказал Берестов.

- Надо произвести впечатление, что нас много, путь думают, целый десант, - сказал Сысои. - А пока неплохо бы подготовить к стрельбе парочку легких минометов из тех, что мы доставили сюда.

Предложение всем понравилось.

- А умеешь обращаться с этой музыкой? - спросил Макар.

- Это проще пареной репы. Бросай в ствол мины, как вишни в рот, а он будет выплевывать косточки. Главное - держать нужный угол. Тут придется навесным огнем лупить.

Мы установили минометы, поднесли мины. Нервы у всех были напряжены, кровь стучала в висках. Даже холода не чувствовали, хотя теперь находились без движения. Всматривались в снежную сумятицу ночи и думали об одном: как бы не прозевать момент, когда нужно будет открыть огонь, как бы продержаться до прихода своих и не подпустить врага к боеприпасам.

Спустя минут десять наши предположения подтвердились. Но немцы действовали очень скрытно. Им удалось выйти в тыл нашей позиции, откуда мы меньше всего их ждали (видимо, ориентировались по голосу стрелка). Первым фашистов заметил Сысои, когда они вдруг темной цепочкой выросли перед ним со шмайсерами в руках, прочесывая снежное пространство впереди себя.

- Стой! Кто идет?! - крикнул он. Ведь это могли оказаться и свои.

В ответ из темноты полоснули сразу несколько автоматных очередей. И хотя Кануров в это время находился за торчавшими перед ним торосами, его все-таки ранило в бедро. Но кость, как выяснилось позже, не задело. Он яростно выругался и замолк. Припадая грудью ко льду, Берестов стал пробираться к технику, чтобы оказать помощь, а тот уже перетащил свое тело к стоявшему поблизости миномету и опустил в ствол мину. Раздался взрыв где-то за спиной у фашистов, высветив на мгновение их сскутившиеся фигуры в касках и длиннополых шинелях с выдвинутыми перед собой автоматами, из которых хлестал смертоносный огонь. Зрелище было малоприятное, даже жутковатое. Вот когда я впервые столкнулся с фашистами нос к носу. И понял, что пощады от них не

дождешься. Да мы и не рассчитывали на это. И желание у всех было одно: разбить их в пух и прах, разметать по озеру. В противном случае такая участь ждала нас.

Вовсю говорили наши пулеметы, установленные на фюзеляже. Огненные струи пронизывали ночную темноту по разным направлениям. Только Грачев не мог воспользоваться стоявшими в носу самолета спаренными пулеметами из-за ограниченности их сектора обстрела.

Такой встречи фашисты не ожидали и бросились врассыпную, залегли полукружьем возле запорошенного снегом самолета, продолжали стрелять.

Находившийся на правом фланге Губанов открыл огонь из миномета, демонстрируя немцам нашу боевую мощь. Чего-то, а мин у нас хватало, и ради спасения доставленного нам груза можно было лишиться части его.

Батные штаны Канурова набухли от крови. Давясь тротиловой гарью, Берестов стал перевязывать ему ногу, и в это мгновение неподалеку раздался оглушительный взрыв. Пилот почувствовал обжигающую боль в плече, возле шеи: словно саданули чем-то острым и горячим. Колючий жар разлился по всей руке. Это разорвалась брошенная фашистами граната. И тут же затрещал пулемет Михея. Я оглянулся и увидел, как немецкий гранатометчик застыл с поднятой гранатой, качнулся в одну сторону, в другую и рухнул навзничь. Раздался еще взрыв, и фашиста разнесло на куски.

О том, что враги вооружены гранатами, мы как-то не подумали, и теперь надо было позаботиться, чтобы они не приблизились к стоявшим в стороне ящикам со снарядами, и создать огневой заслон. Превозмогая боль в ноге, Кануров стал простреливать пространство, отделявшее боеприпасы от фашистов, то и дело меняя угол наклона миномета. Губанов тоже не мешкал. Мины рвались одна за другой, не давая немцам подняться на ноги. Но они не отступали, а ползком приближались к самолету, так что мне и Михею нужно было пошевеливаться. Мы стреляли из своих "шкасов", когда противник оказывался близко, и были уверены, что патроны расходуем ненапрасно.

Рука Берестова отяжелела, и ему казалось, что в нее налили расплавленного свинца. Сысои осмотрел рану и решил, что "до свадьбы заживет", и больше сокрушался (со свойственной ему сквердностью) о том, что "кожанка дюже пострадала". То было первое ранение Макара, и он мог теперь настичь желтую полоску на рукав гимнастерки в знак того, что ему поставила свое клеймо война. У иных бойцов ко Дню Победы такие полоски громоздились одна над другой в несколько рядов. Берестов, однако, немного досадовал потом оттого, что он - военный летчик, а ранение получил на земле. Кануров же своей "зарубкой" гордится и теперь. При случае охотно показывает молодежи: мол, знай наших!

Тем временем оправившиеся от паники фашисты решили взять нас в кольцо. Но как только зашли к самолету со стороны носа, их начал косить из спаренных пулеметов Грачев. Одному немцу удалось подползти к нему и швырнуть гранату. Тугое пламя озарило нашу машину с нависшими над ней дымками от взрывов. На этот раз ранило и сидевшего в "моссельпроме" штурмана (он потерял сознание), изрешетило консоль крыла и повредило элерон. А потом выяснилось, что пострадал и один из винтов.

Трудно сказать, как бы закончился этот короткий и неравный по силам бой, если бы подоспели наши морские пехотинцы, посланные сюда с подводами за вооружением и снарядами, которые мы доставили. Услышав перестрелку и взрывы, они быстро распрыгли лошадей, вскочили на них и с громкими возгласами: "Вперед! За родину! Ура!" ринулись на смешавшегося врага, стреляя из винтовок и автоматов.

Сила теперь была на нашей стороне. Оставшимся в живых немцам ничего не оставалось, как броситься наутек. А кому это не удалось, побросали оружие и сдались в плен. В том бою фашисты недосчитались тринадцати человек. Из числа разбежавшихся кто-то, видимо, нашел свой конец в образовавшихся от взрывов полыньях.

Когда все затихло, и только запах едкого дыма свидетельствовал о недавней схватке, мы спросили у вернувшихся

Альморова и Варганова, как они добрались с Дуней и младенцем до поселка.

- Дорогой у нее открылось кровотечение, - ответил летнаб с горечью, - и в конце пути пришлось тащить волоком на чехле. Ну да она почти невесома была. Поместили в больницу. Врач, однако, сказал, что можно ждать любого осложнения. Ведь в чем душа у человека держится.

- А как у вас с выгрузкой? - спросил Варганов.

- Закончили бы, наверное, если б эти гады не помешали, - Берестов кивнул на связанных веревкой фашистов, конец которой мы приладили к хвосту самолета.

Тем временем оказали помощь Грачеву. Рана оказалась серьезной. Осколком перебило ключицу и задело артерию. Потерял много крови. Его нужно было как можно скорее доставить в госпиталь.

- Знаешь, командир, есть идея, - сказал бортач. - Она пришла мне, когда мы добрались до места.

И все догадались, о чем пойдет речь, потому что и сами думали об этом.

- Отбуксировать самолет?

- Точно. Дорогу я обследовал. Снега не успело намести, лед крепкий. Артиллеристы нас поддержали, дали дополнительно лошадей, тросы, веревки и все необходимое.

Сообщение это нас порадовало. Не хотелось оставлять боевую машину на произвол судьбы. И хотя она уже доживала свой век, но все-таки еще могла послужить. А мы к ней так привыкли, можно сказать, сроднились и надеялись снова подняться в воздух с боевым грузом на борту.

Не прошло и часа, как наш отряд тронулся в путь. Впереди шли подводы с ранеными и грузом, а замыкала шествие шестерка лошадей, запряженных в три пары – цугом – в нашу покалеченную машину, теперь уже полностью разгруженную. Возле каждой пирамиды шасси и у хвоста фюзеляжа находились по несколько человек из взвода морских пехотинцев, которые были выделены нам на подмогу. Берестов сидел в самолете и орудовал тормозами по команде техника, когда нужно было притормозить колеса правого или левого шасси.

Закоченевшее тело Кострова лежало за его спиной на тех же самых чехлах, на которых разрешилась от бремени Дуня.

Мне и Михею поручили сопровождать пленных, связанных длинной веревкой. Они шли гуськом, обреченно понурив головы, не вызывая уже у нас каких-либо опасений. Возможно, немцы даже радовались такому для себя концу. Теперь они вышли из кровавой бойни, могли надеяться на то, что им будет сохранена жизнь.

Я думал о том, что после короткого отдыха в поселке и ремонта самолета мы снова улетим к себе в полк и продолжим сражаться с фашистами. Для всех нас тогда это было самым главным. Занятый этими мыслями, я не заметил, как один из пленных каким-то образом отвязался и упал на лед в надежде на то, что мы его не увидим, а после того как уйдем, скрыться. Но не тут-то было. Михей, шагавший в конце колонны, крикнул, чтобы я обратил внимание на упавшего немца. Мне взбрело в голову, что с пленным что-то случилось, и я наклонился над ним. И тут он, выгнувшись дугой, выхватил у меня винтовку со штыком и так же неожиданно коротким сильным ударом всадил ее мне в подреберье по самый ствол. Я потерял сознание и пришел в себя лишь в госпитале.

До поселка наша "кавалькада" добралась, когда забрезжило утро. Ветер уже не бился толчками в самолет, снегопад кончился. Там и тут проглядывали из облаков не успевшие погаснуть звезды.

Смертельно уставшие люди едва держались на ногах. Раненых (в том числе и меня) поместили в госпиталь. Грачеву и мне потребовалась кровь, и Берестов с Кануровым со своими легкими ранениями оказались там очень кстати. У меня и командира была одна группа крови, а кровь Сысоя подошла Грачеву.

- Ну вот вы и породнились, - сказала Макару медсестра, когда он поднялся с кушетки.

- Так что же с моим родственничком? - поинтересовался Берестов, ласково поглаживая меня по плечу. - Надеюсь, скоро снова увижу его за турельной установкой.

- Придется госпитализировать.

- Даже так?! - встревожился он. - А потом?

- До "потом" нужно дожить. Будем надеяться, что все обойдется. Но потребуется время.

Мы справились о Дуне. И тут нам сообщили, что она скончалась: кровотечение так и не удалось остановить.

- Слава богу, умирала легко и до конца была при сознательности, - сказала старая няничка. - Будто уснула и все. Царство ей небесное.

- О чем-нибудь говорила? Давала наказы? - спросил Берестов.

- Что говорить, - глаза женщины наполнились слезами. - Все тревожилась за малютку, сердешная. Просила, чтобы позабочились и не забыли поставить в метриках прозванье. Игнатом нарекла раба божьего. Игнатом Макарычем.

- Упоминала ль кого из родных?

- Сказывала, будто сам-то от нее ушел и сгинул где-то. Брата еще называла Афанасия, но где он теперича, не успела собрать. Силы вконец потеряла и испустила дух. На моих глазах и преставилась. Бог дал, бог взял. Пусть покоится с миром, - и старушка торопливо перекрестилась темной морщинистой рукой.

- Что будет с ребенком?

- Будет жить, коли судьба, - сказала няничка. - От судьбы не уйдешь.

- А где он?

- Игнат-то? Приняла одна. У нее намедни помер младенец. Еще и молоко в грудях не высохло. Сказала, будто станет ей за сына, ежели не сыщутся родные. Токо сама-то дюже плоха. Ну да свет не без добрых людей. Так что ты, касатик, не печалуйся особливо и не держи это в голове. Твое дело теперича воевать, супостата поганого гнать с нашей земли, а наше - бабье - растить тех, кто придет заместо сложившим головушку. Ничего, жить будет. Но и вы там побережитесь. Пуля-то дура, а вы должны с умом воевать. Не тратиться жизнью понапрасну. Она еще токо зачалась у вас.

Берестов спросил, как звать ту женщину, что взяла Игната.

- А Фросей и звать. Ейный мужик тоже на войне. Фросей, Фросей зовут, Полосухиной. Сердешная женщина, последнее

готова отдать, дай-то ей Бог здоровья пожить еще сколь-нибудь.

- А что с ней-то?

- Кто ж знает. Плоховата собой, и все. Да ведь и то сказать: с харчишками-то тоже неважко у нас. Хлебушко пополам с отрубями. Не такие дюжие, как она, ноне с ног валятся, а иные и вовсе извелись от голода. Но молоко в грудях у Фроси покуда есть - это счас для робеночка самое главное.

Время было горячее, и Берестов не успел встретиться с Фросей. Да и что бы сказал ей? А вот о подарке не забыл, хотя возможности тут были невелики. Велел Варганову разделить на две части бортовой НЗ, как мы коротко называли не-прикосновенный запас питания - оцинкованные банки из-под взрывателей, заполненные консервами, сгущенным молоком, концентратом и несколькими плитками шоколада, - предназначенный для экипажа на случай вынужденной посадки на вражеской территории или в пустынной местности. Одну половину оставить мне и Грачеву, а другую передать Полосухиной. Впрочем, нам уже не раз приходилось "распиронивать" НЗ в блокированном Ленинграде: раздавли продукты ребятишкам, которых переправляли на Большую землю. Да и не могли мы иначе, видя их молчаливые голодные глаза, хотя нас и поругивали за это. Вот и теперь... Но я и Грачев от продуктов наотрез отказались: живы будем - не помрем. А Полосухиной какое-то подспорье. - Ладно, коли так, - согласился Берестов. - И еще, - сказал он бортачу, вспомнив о своем прошитом пулеметной очередью, парашюте, - я теперь возьму парашют Кострова, а мой отдай этой женщине. Нашьет парню рубашек. Им не будет сноса.

Себе он оставил на память шлем командира, пробитый пулей, и книгу Яцку.

Кострова похоронили в тот же день на поселковом кладбище под сенью запущенных инеем деревьев, рядом с могилой Дуни, где некогда мастеровые люди Петра Великого рубили корабельный лес и строили изящные быстроходные ла-

ды. В последний путь его провожал весь военный гарнизон поселка, местные жители. Были короткие надгробные выступления солдат и офицеров. Воины по обычаям предков клялись у боевого знамени части, приспущенного над уже глухим ко всему объятым вечным сном, командиром Костровым, отомстить за его смерть и смерть товарищей, за человеческие страдания и муки, которые испытывал наш народ.

Запомнились слова летнаба Альморова о том, что человеку принадлежит лишь смерть, а жизнь - людям. Его рыданий нельзя было унять.

Отдавая последние почести погибшему летчику, воины произвели несколько залпов из карабинов и автоматов.

В холмик скованной морозом земли воткнули пробитую осколками лопасть воздушного винта от самолета, на котором мы летели через Ладогу. Ветер сквозил через зазубренные пробоины, и лопасть тонко звенела, как совсем недавно звонела в дружной упряжке с другими лопастями, ввинчиваясь в небо.

Моя же солдатская служба на этом и закончилась. После госпитального лечения меня по состоянию здоровья демобилизовали из армии, и только спустя несколько лет, уже после войны, мне снова удалось вернуться в авиацию, но уже военным корреспондентом окружной газеты "За Родину".

Я свято храню в памяти все, что связано с капитаном Костровым, не забываю о тех, с кем довелось рука об руку бить фашистов. Прикладываю усилия, чтобы узнать, где сейчас мои однополчане как сложилась их жизнь. Совсем недавно мне повезло: просматривая подшивку окружной газеты, я наткнулся на рассказ о Берестове. Вот что в нем говорилось.

Пока летчик лежал в госпитале, залечивая свои раны, бомбардировочный полк, в котором он служил, был расформирован по причине окончательно устаревших и непригодных к дальнейшим боевым действиям самолетов ТБ-3.

Личный состав полка послали на переподготовку в одно из учебных подразделений армии, летчик Берестов и летнаб

Альморов освоили самолет Яковleva и продолжили на нем воевать в составе истребительного полка.

О героических подвигах Берестова рассказывалось в военной печати. Мне удалось разыскать несколько публикаций о нем. На одну из них я сошлюсь на страницах своего повествования.

В рассказе шла речь о разведывательном полете Берестова. Я живо представил стоявший на опушке леса самолет в окружении деревьев и летчика в кабине этого самолета. Он думал о предстоящем задании.

- "Чайка-семнадцать", "Чайка-семнадцать", - послышался в наушниках голос дежурного по полетам, - еще раз проверим связь. Раз, два, три... Как меня слышите? "Маяк-девять". Прием, прием...

- "Маяк-девять". Слышу хорошо. Разрешите запускать?

Несколько мгновений длилось молчание. Казалось, на стартовом командном пункте раздумывали, стоит ли пускать Берестова в этот полет. Он напряженно вслушивался в шорохи, которые слышались в наушниках.

- "Чайка-семнадцать", запускайте!

И предвечернюю тишину прорезало рокотанье мотора.

Самолет побежал по скошенной траве, подскакивая на неровностях, вот он поднял хвост. Скачок, еще скачок - и птица, выкрашенная в цвет бирюзы, оторвалась от земли.

Пилот не стал делать круга над аэродромом, не стал набирать высоту. Прямо пошел к морю, которое ослепительно блестело впереди, сливаюсь с небом.

Берег скрылся за горизонтом. Теперь со всех сторон было только море, до жути однообразное и пустынное. Впрочем, его нельзя было даже сравнить и с пустыней. Там глаз хоть изредка мог зацепиться за какое-нибудь растеньице, вроде перекати-поле или саксаула, а здесь кроме воды, отдающей холодным свинцом, ничего не было видно.

Неяркое осенне солнце медленно скатывалось к горизонту. Летчик посмотрел на часы. Около часа нужно было лететь над водной пустыней. К этому времени, по расчетам штурмана полка, солнце повиснет над самой водой. "Только бы не сбиться с курса, - думал Берестов, - не прозевать момент".

Все его мысли были сосредоточены на одном - как выполнить боевое задание. Два дня назад вот так же летел туда один из друзей Берестова, Альморов. Это было рано утром. Он поднялся, насколько позволил потолок машины. Самолет казался едва заметной точкой. Половину пути облака надежно укрывали его от врага. А потом начались просветы, и на конец облака совсем исчезли. Воздух местами был сильно насыщен влагой. Завихренный самолетом, он конденсировался в мелкие водяные шарики и становился видимым. Белый след инверсии, как хвост кометы, потянулся за самолетом. Этот хвост летчики полуслышно называли "приговором". Альморов так и передал по радио на аэродром:

- Веду за собой "приговор". Снижаюсь. Впереди - военный порт.

Враги заметили самолет с корабля, патрулировавшего у входа в бухту. В небо полетели снаряды.

- Нахожусь в густом заградительном огне, - послал очередное донесение летчик. - Стреляют из дальнобойных орудий. Продвигаюсь вперед. "Приговор" идет следом...

А потом наступило молчание. Авиаторы стояли у репротектора и ждали сообщений от Альморова.

- Ну что же он? Почему молчит? - спрашивал один из самых молодых летчиков в полку. - Хотя бы словечко...

Товарищи старались не встречаться с ним взглядами.

"Чайка-три", "Чайка-три", - то и дело слышался из репротектора голос командира. Потом он приказал: "Чайка-шестнадцать" и "Чайка-семнадцать," выруливайте на старт. Будете встречать Альморова". Эти слова относились к Берестову и его напарнику Высокосу.

Летчики посмотрели на командира, и вспыхнувшая в их глазах надежда исчезла. Командир посыпал их просто на всякий случай.

Еще долго стояли летчики возле черной эbonитовой коробки, которая без конца хрюпела, но говорить ничего не говорила: ее словно задушили.

У кого-то хватило мужества посмотреть на часы:

- Бензин кончился.

Но никто не ушел с командного пункта. Потом вернулись Берестов с Высокосом.

Летчики сняли фуражки.

Вечером приехал командующий армией. Было совещание офицерского состава. Командующий высказал надежду, что летчик Альморов сделал вынужденную посадку. Генерал дал всем понять, что ожидается наступление по всему фронту.

Эта весть подняла у летчиков дух: давно все рвались в бой.

- Нашему штабу крайне необходимы данные о кораблях, которые на причале в порту Каменному. Есть сведения, что в них находятся химическая начинка для снарядов и материалы для производства ракет и топлива к ним. Это поможет составить план операции с учетом всех слабых и сильных сторон врага. Первая попытка не принесла успеха. Кто сможет повторить разведку?

Посыпать на особо важные и опасные задания добровольца было старой боевой традицией. И генерал не хотел ее нарушать.

Несколько летчиков молча сделали шаг вперед.

Генерал протянул руку Берестову.

- Альморов, кажется, ваш друг?

- Да, - подтвердил летчик. - Вместе летали на ТБ-3.

- Спасибо, лейтенант. - В эту минуту он совсем не был похож на командующего. Полный, медлительный в движениях генерал напомнил Берестову капитана Кострова, погибшего под Ленинградом в сорок первом. У Берестова защемило сердце. Генерал насторожился, увидев, как Берестов изменился в лице.

- Может, вам все-таки остаться, - сказал генерал.

- Нет, нет! Ни в коем случае. Я постараюсь сделать все так, что комар носа не подточит.

Образное сравнение вышло не очень удачным, но ничего другого развлечившемуся Берестову не подвернулось на язык.

Не выпуская руки летчика, командующий спросил, есть ли у него жена и дети.

Берестов ответил, что одинок, и перед его мысленным взором встал образ девушки с большими немного печальными глазами, с которой он познакомился в Ленинграде. Потом они стали переписываться и решили пожениться, как только кончится проклятая война. В своих письмах Алиса рассказывала о жизни в блокированном Ленинграде, об отце, который, несмотря на свою физическую немощь, находил силы быть полезным людям. Его часто навещали товарищи из пароходства, Адмиралтейского и Балтийского заводов, где перевооружались и ремонтировались корабли - "питерская гвардия", как они называли себя. Изможденные, обессиленные, с плохо гнувшимися ногами, они обычно приходили сообщить какую-то новость или посоветоваться по своим делам, отвести душу в разговоре, а может, и для того, чтобы услышать от своего "разводящего" (так они прозвали Павла Демьяновича) ободряющие и вселяющие в них веру слова. А благодаря им отец Алисы был хорошо осведомлен о положении на фронтах, и в первую очередь - на Ленинградском и Карельском, какими силами располагали воюющие стороны, о прибывающих пополнениях, о взаимодействии армейских соединений, о системе воздушного наблюдения, оповещения и связи. Ему хотелось знать все решительно.

- Главное, не поддаваться слабости, держаться друг за дружку, - твердил он товарищам, и этим, возможно, подбадривал и себя. Ругал тех, кто мало двигался:

- Думаете, сэкономите силы? Ничего подобного! Все, что не прогрессирует, то регрессирует.

Это сказал основоположник физической культуры в России Петр Францевич Лесгафт, публичные лекции которого мне довелось слышать в свое время.

- А ведь эти же самые слова не раз произносила и моя бабня, - вспоминал Берестов.

От Алисы он узнал о том, что ленинградское радио передавало беседу с Павлом Демьяновичем. Он призвал радиослушателей к сплочению усилий для преодоления трудностей, к самодисциплине, к заботе друг о друге:

- Только тогда и можно не потерять себя, своего достоинства, человечности, чести, - говорил Павел Демьянович.

В последнем письме, которое Берестов получил от Алисы, она сообщила о смерти отца, и что друзья Павла Демьяновича помогли ей устроиться в военный госпиталь санитаркой. Это произошло уже после того, как Ленинград освободили.

Почему она прекратила переписку, Берестов не знал, и это его тревожило.

Генерал, казалось, прочитал мысли летчика. На широком лице его отразились самые разнообразные чувства: гордость за советского офицера, одобрение его поступка, тревога, беспокойство... Какое-то из этих чувств взяло верх над субординацией, существующей между начальниками и подчиненными, может быть, причиной этому было что-то другое: генерал вдруг притянул Берестова к себе и, обняв, ласково похлопал по спине. И в эту минуту летчик снова подумал о Кострове. Потом лицо генерала стало суровым, непроницаемым - он словно устыдился своей человеческой слабости.

- Нужно тщательно подготовить этот полет, - сказал он командиру полка. - Остальные могут разойтись на отдых.

Было около двух часов ночи, когда Берестов ушел из штаба, где обсуждались подробности полета. Перед тем как вылетать на задание, ему дали как следует выпастся, набраться сил.

Но спал он плохо. В голову лезли мысли о пропавшем без вести Альморове, о товарищах, с которыми должен был завтра проститься. И снова и снова вспоминал слова, сказанные командирами во время предполетной подготовки; перебирал в памяти различные варианты подхода к объекту разведки и отхода от него.

- Главное - застать врага врасплох. Если один план окончится неудачей, тут же иметь наготове несколько запасных, - так говорил генерал, с необычной педантичностью экзаменуя Берестова.

Летчик заснул на рассвете. И проспал до обеда. Когда подошел к машине, техники устанавливали в гондолах заряженные фотоаппараты. Они тепло приветствовали его, помогли надеть парашют, привязать надувную лодку.

- Море сегодня спокойное, - сказал механик Афанасьев, чтобы не затягивать молчание. - Хорошо будет лететь.

Берестову показалось, что технарь чувствует себя немного виноватым за то, что остается на аэродроме в относительной безопасности, а лейтенант должен отправляться в стан врага. Летчику стало неловко за свои подозрения, и он кивнул:

- Да, море спокойное. Хорошая, говорят, примета...

Механик, кажется, понял своего командира, и от этого летчику стало еще неудобнее. Они поговорили о самых незначительных вещах. Берестов надел шлемофон, а фуражку, как это делал всегда, отдал механику. Распрощались за руку, хотя никогда раньше этого не делали.

В этом полете Берестов мог надеяться только на себя. Под ним, ослепительно сверкая на солнце, колыхались, ворочались, сходились и снова расходились массы воды, а над головой необытным шатром раскинулось светлое выцветшее небо.

Ровно работал мотор, посыпая легкую дрожь во все части самолета, в мышцы и нервы. Часы на приборной доске немножко отсчитывали минуты, и каждая минута приближала летчика к цели.

Ни единого суденышка не встретилось ему, хотя они где-то и бороздили воды моря.

Самолет шел низко, почти срезал крыльями белые гребни волн. К тому же маршрут штурманом полка был проложен там, где меньше всего была вероятность встретиться с противником.

- Еще немного, - сказал он себе, продолжая всматриваться в темнеющую даль, отделявшую небо от воды.

Наконец впереди показалось темное облачко. Берестов знал, что это дышит военный порт. Сердце гулко заколотилось. Пальцы, помимо воли, крепче сжали штурвал.

Вот уже летчику стала видна вся бухта, облепленная у берегов кораблями. Среди них своими размерами особенно выделялся один. Берестов напряг зрение и скоро увидел низкую выкрашенную светлой краской палубу с надстройкой и огромной трубой на корме.

"Танкер! Судя по осадке - полный", - эта мысль искрой пронеслась в его голове.

Он увидел, как в порту забегали люди, засуетились, потом показались белые облачка дыма - начали стрелять.

Летчик потянул штурвал на себя - самолет послушно рванулся кверху.

Заговорили зенитные пушки и пулеметы. Берестов снова снизился, чтобы лишить врага возможности вести прицельный огонь, прошел вдоль берега. Под приборной доской загорела сигнальная лампочка - фотоаппарат делал свое дело.

Летчик включил радиопередатчик и стал сообщать на свой аэродром обо всем, что видел.

Длинные огненные трассы теперь прошивали все небо. Берестов знал, что его могут подбить, но боевой азарт овладел им безраздельно.

"Только бы успеть все передать, - думал он. - Только бы ничего не упустить..."

- Возвращайтесь домой, - приказали ему с аэродрома.

Он сам видел, что нужно уходить. Прижалвшись к воде, полетел навстречу висевшему у самого горизонта солнцу. Лучи слепили глаза, но он понимал, что они так же слепили глаза его врагам, которые посыпали ему вдогонку снаряды. Военный порт вскоре остался позади, а потом и вовсе скрылся из виду. А Берестов все летел и летел по направлению к опускавшемуся в воду солнцу. Теперь ему хотелось, чтобы оно скорее уходило за горизонт, чтобы скорее наступила темнота. Ведь только она могла помочь по-настоящему скрыться от преследователей, которые, наверное, уже поднялись с ближних аэродромов и могут настигнуть его.

Но беда ожидала с другой стороны. Ослепленный солнцем, летчик не заметил патрульное судно. Только почувствовал сильный удар в корпус самолета. Снарядом, пущенным с корабля, разворотило бак с горючим, и мотор вот-вот мог лишиться главного - питания. Надо было что-то предпринимать. Но что?

Надежд на спасение уже не было. В голове Берестова замелькали какие-то случайные мысли, но они не задерживались минуту, будут накапливаться. При спрятанной концен-